

ПОЛЬСКИЕ ВОСПО МИНАНИЯ

ВИТОЛЬД
ГОМБРОВИЧ

ПУТЕ ШЕСТВИЯ ПО АРГЕНТИНЕ

Витольд Гомбрович

Польские воспоминания.

Путешествия по Аргентине

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72982982

2025

ISBN 978-5-89059-577-5

Аннотация

Серия автобиографических очерков, написанных Гомбровичем во время его пребывания в Аргентине в конце 1950-х гг. Они написаны просто, без языковых новшеств и представляют собой увлекательный рассказ о детстве, юности, литературных начинаниях Гомбровича и его коллегам-писателям в межвоенной Польше, дают представление о том, как этот опыт и люди сформировали его представления о себе, культуре, искусстве и обществе. Кроме того, книга помогает читателям увидеть многочисленные автобиографические аллюзии в его произведениях и выводит на новый уровень понимания и оценки его жизни и творчества.

Содержание

Польские воспоминания	5
Конец ознакомительного фрагмента.	136

Витольд Гомбрович

Польские воспоминания

Путешествия по Аргентине

Witold Gombrowicz

WSPOMNIENIA POLSKIE

WEDRÓWKI PO ARGENTYNIE

Книга издана при поддержке Польского института в
Санкт-Петербурге

© Rita Gombrowicz & Institut Littéraire

All rights reserved

© Ю. В. Чайников, перевод, комментарии, 2025

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2025

© Издательство Ивана Лимбаха, 2025

* * *

Польские воспоминания

«Я родился и воспитывался в благородном доме». Это ироническое начало одного из моих рассказов, а именно «Мемуаров Стефана Чарнецкого», могло бы стать началом и для этих моих воспоминаний. Я действительно рос маменькиным сынком в так называемом «благородном» семействе, но в данном случае слово «благородное» следует употребить без иронии, поскольку это был просто дом приличных людей, людей с принципами.

У отца было небольшое поместье в Сандомирском воеводстве, а еще он работал в промышленности и во время моего взросления был директором Главного Управления торговли металлоломом и членом нескольких наблюдательных советов и управлений, что обеспечивало ему доход значительно более высокий, чем тот, который могло бы ему дать Малошицкое поместье. Моя мать – дочь Игнатия Котковского, помещика из Сандомирского воеводства. По мужской линии мой род корнями уходил в литовскую землю: тамошнее имение моего деда Онуфрия русское правительство конфисковало в 1863-м, и это подтолкнуло его переселиться в Царство Польское, где на остаток спасенных денег он купил деревню Якубовице, а к ней потом еще одну – Малошице, где я и родился.

По сравнению с другими сандомирскими помещиками

мы, Гомбровичи, находились в «несколько более выгодном положении», в основном благодаря весьма разветвленным кровным связям, которые достались нам в наследство с литовских времен, а еще потому, что литовская шляхта, отличавшаяся богатством и много веков просидевшая в своих поместьях, могла похвастаться более глубокой традицией, более подробной историей и более солидными должностями. Впрочем, не уверен, разделяла ли сандомирская шляхта эту точку зрения. Я был младшим из детей, самым старшим был Януш, за ним шел Ежи, а моя сестра Ирена была старше меня на два года.

Моя жизнь в Польше была спокойной и заурядной; выдающихся людей я видел мало и приключений в моей жизни тоже было мало. Не знаю, пригодится ли это кому-нибудь, но хотелось бы показать, как эта жизнь сформировала меня и мою литературу. Понятно, признания мои будут весьма фрагментарные, порой скользящие по поверхности событий, ибо не место тут для исчерпывающего анализа и бурных излияний души; но я все же думаю, что даже такая приглаженная биография сможет бросить лучик света на жизнь в Польше того времени. А заодно неплохо было бы показать читателю, как сегодня, с перспективы двадцатилетнего пребывания за границей, с перспективы Запада, с американской перспективы мне видится Польша тех дней.

Немногим у себя в стране я известен по основательному чтению моих трудных и довольно эксцентричных произве-

дений. Больше найдется таких, кто обо мне просто слышал, для них я являюсь, прежде всего, автором «gębu» и «pię», под знаком этих двух мощных мифов я вошел в польскую литературу. Но что значит «сделать кому-нибудь gębę» или «сделать кому-нибудь pię»? «Сделать gębę» – это нацепить на человека уродующую его маску, обезобразить его... Если, например, человека неглупого я воспринимаю как глупца, а человеку доброму я приписываю преступные намерения, то я тем самым делаю им gębę. А «сделать pię» – практически идентичная манипуляция с той лишь разницей, что взрослым начинают вертеть как ребенком. Как видно, обе эти метафоры связаны с деформацией, которой человек подвергает другого человека. И если в нашей литературе я занял какое-то особое место, то, видимо, прежде всего потому, что я подчеркнул чрезвычайное значение формы в жизни – как общественной, так и в личной жизни человека. «Человек создает человека» – такова была моя исходная точка в психологии. Считаю также, что моя чувствительность к форме с самого раннего детства позволила мне достичь потом своего писательского стиля и создать жанр, который сегодня постепенно завоевывает себе права гражданства во всем мире.

Откуда, однако, взялась во мне эта чувствительность к человеческой форме, то есть к способу бытования человека в этом мире? В свое время, до войны, известный польский художник Бруно Шульц в лекции о моем романе «Фердыдурке» сказал, что эта книга не могла быть придумана, что она

стала плодом многих тяжелых личных переживаний. Шульц не ошибался. Я по-своему много выстрадал, причем уже в самом начале моего существования, и вот об этих муках становления человека в Польше мы и поговорим, а потом перейдем к другим темам.

Начну с того, что, вопреки разным мнениям, мой родной дом был одним большим диссонансом, постоянно раздражавшим мои детские уши. Причин для этого было много, но одна из главнейших – несоответствие темпераментов и характеров моей матери и моего отца.

Отец – мужчина видный, элегантный, «породистый», как тогда говорили – считался человеком серьезным, ответственным и порядочным. Контраст между тем, как корректно, как достойно вел себя отец, и тем, как чудачили мы, его сыновья, у многих вызывал недоумение типа: «что бы на это сказал ваш отец» или «как жаль, что пошли вы не в старика Гомбровича». Прекрасная внешность в соединении с умом, не каким-то особо глубоким, не отличающимся слишком широкими интересами, но работающим четко – все это гарантировало отцу довольно престижные должности в разных советах и дирекциях.

А вот моя мать отличалась необычайно живым характером и буйной фантазией. Нервная. Экзальтированная. Непоследовательная. Не контролирующая себя. Наивная и, что еще хуже, имеющая о себе самое неадекватное представление. Отец часто подчинялся ее проницательности и уму, но

еще чаще молча переносил ее экзальтации, с которыми ему на самом деле трудно было справиться.

Не хотелось бы долго разглагольствовать о семье. Скажу лишь, что (это мое личное мнение) именно мать внесла в наш дом тот глубокий формальный душевный разлад, в атмосфере которого я вырос. Я ее в этом не виню, поскольку натуру она имела благородную и намерения самые лучшие, к тому же она была безумно к нам привязана, но, прекрасно владея французским, имея широкий кругозор и непоколебимые моральные принципы, она была лишена разве что уверенности в себе, той естественности и простоты, которые присущи даже обычной девке со скотного двора: она избегала в своей жизни проверки жизнью. Она и с жизнью-то, в сущности, никогда не сталкивалась. Вот это и лишало ее авторитета в наших глазах, без которого она оказывалась как бы в пустоте.

Лишенная в этой пустоте возможности определить, кто же она на самом деле, она сформировала в своем воображении абсолютно фантастическое представление о своей личности. «Сколько трудов я вложила в этот сад!» – говорила она, прогуливаясь с гостями по малошиицкому саду, но мы знали, что это труды не ее, а садовника. «Может быть, это немного странно, но должна признаться, что испытываю слабость к философии, к точному мышлению, люблю иногда почитать Спенсера», – говорила она, веря в то, что говорит, но мы-то знали, что тома Спенсера лежат неразрезанные. «Как же

тяжело мне досталось воспитание детей», но нам было известно, что главная тяжесть по части воспитания лежал на гувернантках.

Вот такой «работающей и принципиальной женщиной», «четко выполняющей обязанности», «систематичной, точной, способной руководить и организовывать» видела она себя, тогда как в действительности являлась противоположностью всего этого: фантазерка, непрактичная, неспособная к систематическому труду и привыкшая к разным вспомогательным средствам, наличие которых в доме обеспечивалось деньгами. Однако я не упрекаю свою мать в том, что она была такой, а не какой-то другой. Она имела ряд достоинств, правда, иного рода: доброта, благородство, честность, ум, а ее слабости были отчасти следствием ее нервов, а отчасти результатом искусственности жизни и не менее искусственного воспитания.

Ее нежелание предстать тем, кем она была, нежелание самой себе признаться в этом, отомстило ей: мы, ее сыновья, начали против нее войну. Она раздражала нас. Провоцировала. И видимо, с этого начались мои болезненные приключения с разными искажениями польской формы, которые действовали на меня как щекотка, когда человек смеется до упаду, но приятным такое не назовешь.

Та война, которую я со старшими братьями вел с матерью, состояла, прежде всего, в постоянном опровержении всех ее высказываний. Достаточно было матери бросить мимоходом, что идет дождь, как непреодолимая сила заставляла меня тут же возразить с заученным удивлением, будто только что я услышал величайший из абсурдов: «Полноте! Смотрите, как светит солнце!»

Думаю, эти упражнения в неприкрытом вранье и в явном вздоре исключительногодились мне в позднейшие годы, когда я начал писать.

Однако, приняв во внимание то обстоятельство, что нас было трое (моя сестра не участвовала в этих баталиях), наш дом постепенно стал походить на бедлам, и лишь строгость и серьезность отца спасала от полной катастрофы. Шла нескончаемая безумная полемика с матерью по всем возможным вопросам – философским, моральным, религиозным, общественным, семейным, светским. Если мать кого-нибудь похвалит, мы должны были обдать презрением этого человека, если ей что-нибудь понравится, мы места себе не найдем, пока не отыщем в полюбившемся ей предмете изъяны. Ее потрясающая наивность приводила к тому, что она всегда позволяла втянуть себя в эти безумные дискуссии, что нас, естественно, радовало с каждым разом все больше и

больше. Игра! Эти игры позволяли нам забыть о более глубоких, более драматичных раздражителях, сидевших глубоко внутри, и сильно облегчали общение с матерью. Отсюда наверняка и берет начало проявившийся в моем позднем творчестве культ игры и понимание ее огромного значения в культуре.

Тогда нашими играми верховодил мой брат Ежи, натура артистичная, прирожденный комик и пересмешник, знающий, как вызвать требуемый эффект, великий выдумщик по части разных словечек: некоторыми из них я, жалкий плагиатор, пользуюсь до сих пор. Тогда я находился целиком под его влиянием. Вызвать мать на полемику можно было с помощью провокации. Прекрасно для этого годилась тема разводов, поскольку мать была ревностной католичкой и что называется «человеком принципов».

– Еще один развод в семье! – громогласно объявлял Ежи уже в прихожей, на что я отвечал из глубины дома:

– Что такое?! Новый развод в семье! Быть такого не может!

– Представь себе, – кричал Ежи через четыре комнаты, – встречаю в трамвае тетю Розу, которая божилась, что Эля разводится со своим третьим мужем!

– Не верю, нет! – восклицал я патетически с целью выманить мать из спальни. И начиналась дискуссия, в которой мы поддерживали тезис, что развод – это гениальное изобретение, поскольку «у детей становится родителей вдвое боль-

ше», а также «они прекрасно чувствуют себя, когда имеют на выбор два дома».

Приходит на память также спор на тему, хорошо ли поступает наша кухня, садясь играть в бридж с тремя своими бывшими мужьями. Мы настаивали на том, что это признак высокой культуры.

Как видите, это была совсем неплохая школа диалектики, которая вгоняла в оторопь нашу прислугу, Анелию. «Что же это вы, господа, с нашей барыней делаете!» Я, естественно, не стану защищать истинность наших взглядов, но наши, возможно слишком резкие, наскоки на универсальные принципы вовсе не были такими уж неразумными. Мать принимала участие в общественной жизни, какое-то время была председательницей Общества землевладеллиц, института в высшей степени уважаемого, но отмеченного неизлечимой высокопарностью стиля. Мы, естественно, с диким наслаждением опускали старомодную риторику с небес на землю, а я даже подслушивал за дверью разговоры на их посиделках, чтобы набрать материал для сатиры. Но игрой дело не ограничилось. В глубине души нас все сильнее подтачивало подозрение, что и мы несвободны, ибо сами страдаем тем же недугом оторванности от жизни, который мы пытались искоренить в матери. Мы начинали не только чувствовать, но и понимать, что не только она, но и мы не прошли проверку жизнью и лишены настоящего контакта с действительностью.

Здесь я обращаюсь к одной из самых чувствительных болячек, которая сильно сказалась на моем развитии. И не сомневаюсь, что от этого недуга страдал в Польше весь так называемый высший класс, за исключением ушедших с головой в работу профессионалов типа врачей, инженеров, то есть тех, кого повседневная работа заставляла сталкиваться с действительностью. Но вот помещики, богатая буржуазия, большая часть интеллектуалов – все это были люди, живущие жизнью облегченной, не знающие, ни что такое бороться за выживание, ни ценности этой жизни. Как же характерно, что мой отец, например, лишь изредка и то совершенно случайно отдавал себе отчет в ненормальности своего положения в обществе, тогда как мы, следующее поколение, видели все это значительно четче... значительно яснее... Для моего отца лакей был чем-то совершенно естественным и само собой разумеющимся, и даже после, когда, демократизируясь, мы съехали с лакея на прислугу, он позволял обслуживать себя так, будто это было заложено в самом мироустройстве. В отличие от нас, в отце еще сохранялось природное панство, и, должен признаться, простой народ улавливал эту его естественность инстинктом и значительно охотней вертелся вокруг него, чем вокруг нас – недогоспод, пытающихся держать фасон.

Мать тоже принимала свой статус госпожи как нечто абсолютно естественное. Мои родители принадлежали поколению, почти не затронутого в социальном смысле тем, что

Гегель называл «несчастливым сознанием»¹. Они считали, что каждый должен жить на том уровне, какой определила ему судьба, и выполнять все те обязанности, какие выпали на его долю в силу принадлежности к данному сословию. Господа, хозяева должны хорошо хозяйствовать, а слуги – хорошо прислуживать – вот и вся философия. Все остальное – пустые мечтания, выдумки теоретиков.

А вот нам, молодому поколению, эти вопросы не давали покоя. Правда, в той моей ранней молодости, в возрасте лет так четырнадцати – восемнадцати, я меньше обращал внимания на моральный аспект проблемы, а больше чувствовал связанное с этим неравенством личное унижение. Пока я был в городе, в Варшаве, все было более или менее терпимо. Но когда я выезжал в деревню на каникулы, разыгрывалась настоящая драма.

Со многими моими ровесниками, сыновьями крестьян и батраков, я был в приятельских отношениях, исток которых – в «гвардии», то есть в отряде деревенских мальчишек, который для меня, десятилетнего прыща, собрал мой брат Януш, чтобы я ими командовал. Естественно, уже тогда я испытывал жуткие муки, когда во время «строевой подготовки» откуда-то издалека доносился голос матери или гувернантки, напоминавших мне, чтобы я не промочил ноги, и ин-

¹ Несчастное сознание (*нем.* Unglückliche Bewußtsein) в философии Гегеля – этап развития абсолютного духа (а вместе с ним и индивидуального сознания): утрата идеалов и опустошенность, «смерть Бога». Приходит на смену счастливому сознанию.

тересовавшихся, не холодно ли мне. В бессильной и бессловесной ярости я подчинялся этому бабскому бесстыдству, циничному, не отдающему себе отчет в том, какой урок они мне преподносят. Мое положение было весьма двусмысленным. Теоретически я был вожаком, барчуком, существом высшего порядка, призванным отдавать приказы, на практике же все атрибуты моего барского превосходства: ботиночки, курточка, кашне, гувернантка и (прости господи!) калоши – низвергали меня на дно унижения, и я украдкой, со старательно скрываемым неподдельным восхищением смотрел на босые ноги и посконные рубахи своих подчиненных. Этот чрезвычайно сильный эмоциональный опыт остался во мне навсегда и в более поздние годы реализовался в искусстве как сатира на барственность, на превосходство, на зрелость.

Уже тогда, в возрасте лет примерно десяти, я открыл нечто отвратительное, а именно: что мы, «господа», – явление абсолютно гротескное и нелепое, глупое, болезненно комичное и даже отвратительное... Вот именно! Меня мало интересовало, эксплуататоры мы или нет и какова наша мораль, зато страшно пугало, что мы так по-идиотски выглядим на фоне простого народа. От этого комплекса меня излечила только Америка.

* * *

Когда мне было одиннадцать лет (то есть в 1915 году), в

моей жизни произошли большие изменения: родители отдали меня в школу. Эта школа – филологическая гимназия им. св. Станислава Костки – в момент моего поступления выглядела довольно неприглядно: занимала этаж в доме с двором по улице Брацкой, но вскоре она переехала в просторное здание на пересечении улиц Траугутта и Краковское Предместье.

Я был потрясен. Во мне играли не только моя впечатлительность, но и деревенская робость, неопытность в общении, характерная для молодых людей из сельской шляхты. И первые годы были болезненными: я поступил во второй класс, так что был одним из самых молодых, а поскольку темперамент у меня был бурный и характер строптивый, то я вскоре стал объектом штопоров, одинарных и двойных ножиц, нельсонов, а также обычных тумачов и пенделей. С особым чувством вспоминаю две пытки: одна состояла в том, что каким-то дьявольским способом так проводили рукой по волосам, что, казалось, выдерут их все; что же касается второй пытки, то она была, может, и не так болезненна, но зато от нее невозможно было увернуться: это когда ногу подбивали «боковой подсечкой».

Ко мне сразу пристало несколько жутких верзил, которые стали моими мучителями. И каждое утро, идя в школу с набитым портфелем, я знал, что прежде, чем я успею открыть его, ко мне подскочит Браксаль, чтобы сделать мне буравчи-

ка, а Васиньский устроит мне «под помаду».

Несмотря на это, я не скатился в ряды лохов: я стал искать союзников и приступил к сколачиванию наступательно-оборонительного блока. Дело пошло гораздо легче, когда на следующий год в школу поступил Казик Балиньский, мой сердечный друг, сын Игнация Балиньского, сенатора и председателя Городского совета и младший брат поэта Станислава Балиньского. С Казиком и Зазой Балиньскими, да и с Антоном Васютиньским, мы прежде вместе посещали частные уроки одной учительницы, пани Керсновской. Так что, когда мы оказались в школе вместе с Казиком и Антосиком, мы сразу образовали союз, к которому потом присоединился Тадек Кемпиньский, очень дружный с Балиньским. Однако, прежде чем все это случилось и я немного обжился в этой несчастной школе и узнал ее приемы и приемчики, мне пришлось пройти через жуткие мучения под дикий хохот палачей.

В эти первые годы я мечтал, что подрасту и попаду в старшие классы; они казались мне райским оазисом цивилизации по сравнению с наполненным криком, ором и беготней адом, наскакивающим, отскакивающим, находящимся в постоянном кипении (а еще грязь, уродство этой мелюзги). *Age ingrat* – неблагоприятный возраст – так это называется по-французски. Одно из самых главных открытий, которые я сделал в путешествиях на Запад, состояло в том, что проявления этого возраста в Германии или, например, в

Италии значительно слабее, тамошние мальчишки были не столь неуклюжи, как наши... а когда я оказался в Аргентине, выяснилось, что здесь практически нет неблагодарного возраста. Действительно, можно только позавидовать элегантности, очарованию, корректности такого дружелюбно улыбающегося красавчика-аргентинца, его чувству формы.

Если бы мне удалось провести пару месяцев в Польше, как я собирался еще в прошлом году, то, прежде всего, я проинспектировал бы малышню, чтобы узнать, не произошло ли улучшения со времен моего детства, и такая проверка стала бы более авторитетной основой для оценки состояния польской культуры, чем анализ всей литературной и научной продукции за сорок лет. Естественно, не следует считать, что, возмущаясь уродами-соучениками, сам я был кем-то вроде маленького Петрония, не знающего, что такое гнойники, грязные уши и грязные ногти. Скорее наоборот, кроме этих недугов, во мне была еще куча разных других... в основном это были позы, манеры, умничанье, пресыщенность, претенциозный эстетизм – словом, плод чрезмерной фантазии, а отчасти и груз вынесенной из дома атмосферы. Сегодня мне легко говорить об этом, но тогда это было на самом деле страшно и я, окруженный всеобщим уродством, на самом деле страдал. Впрочем, и сам я был не лучше!

Гимназия имени св. Станислава Костки была довольно аристократичной. В ней было пруд пруди Радзивиллов, Потоцких, Тышкевичей, Платеров, но хватало также мальчи-

ков из низших социальных слоев. Эти «кармазины», как их называл мой одноклассник Адамский, лучше выглядели, их определенная элегантность сразу бросалась в глаза; среди нас, салаг, они выделялись какой-то своей европейскостью и не были лишены изящества. Аристократы, как правило, держались вместе и допускали в свой круг лишь редких счастливых, связанных узами родства или не связанных, но в любом случае из семей так называемого общества. Это происходило с поразительной в столь юном возрасте точностью, путем какого-то естественного отбора, похоже неосознанного, однако несокрушимость, незыблемость аристократического табу на фоне нашей разнузданной и крикливой анархии стала для меня неписанным законом из тех, которые тем жестче, чем их меньше афишируют. Казик Балиньский, у которого была бабушка-графиня (правда, из незнатных графьев), прабабушка княгиня, а кроме того – отец-сенатор, был в числе избранных, его в принципе могли допустить в этот круг; я, имевший несколько теток-графинь, тоже худо-бедно мог «общаться» с Бисем Тышкевичем или с Владеком Потоцким и идти рядом с ними, когда мы возвращались из школы домой. Но ни Казик, ни я не делали в этом направлении никаких усилий. Во мне, видимо, уже тогда обозначилась невозможность (которая столько лиха на меня навлекла в дальнейшем) общаться с теми, кто в социальной иерархии стоит выше меня. Это было отнюдь не следствие некоего комплекса неполноценности, а шло скорее от того,

что уже тогда у меня был свой собственный образ жизни и я хорошо чувствовал себя только с теми, кому мог навязать эту форму. Что же касается аристократии, то у нее был собственный *genre*² – четкий, но банальный и отчужденный от личности, такой, что я был вынужден ему подчиняться.

Вернусь к прежним моим воспоминаниям – помните? – о сельских мальчиках, об этой моей лейб-гвардии, во главе которой я стоял и скрыто восхищался тем, что они ходили босиком и не знали калош. Уже в то время передо мной стали прорисовываться два вида прекрасного, доступного мне, ребенку. Одно – простое, босое, естественное; второе – отпрысков лучших семей страны, несомненно породистых, с молодых ногтей изысканных и элегантных, составлявших замкнутый клан. Что выбрать? Вопрос не из легких, поскольку моя натура, натура художника, где-то в своих глубинных основах, инстинктивно, была аристократкой. Художнику же присуще чувство иерархии, понимание возвышенного, утонченного; искусство – это абсолютная сегрегация ценностей и отбор того, что выше и лучше, и отвержение – причем презрительное отвержение – того, что пошло и так себе, не пойми что.

Не было бы ничего удивительного, если бы я выбрал Потоцких и Радзивиллов так же, как их выбрали Шопен, Пруст или Бальзак. Но, с другой стороны, уже тогда я замечал отдельные мелкие гадости... вот именно, отдельные мелкие га-

² Здесь: стиль (*фр.*).

дости... этой аристократии, которые меня в мои четырнадцать лет наталкивали на некоторые размышления...

Например... ковыряние в носу. Да, да, ковыряние в носу. Я заметил, что аристократия охотно занимается этим видом спорта. Я заметил также, что когда у себя в носу ковырялась моя знакомая деревенская ребятня, это было каким-то невинным и не шокирующим, в то время как та же самая манипуляция в исполнении Потоцких или Велёпольских становилась ужасно неприятной и отвратительной.

Это грандиозное открытие стало склонять меня влево. Но одновременно меня накрыла волна снобизма и надолго остановила мое развитие.

* * *

В эти годы мировая война выявила во мне непреодолимое влечение к Западу.

Я говорю об этом, поскольку это, видимо, что-то очень польское, и сегодня такое же живое, как и тогда... Одной из ближайших подруг моей матери была профессорша Микуловская-Поморская, муж которой, министр в Регентском совете, был сторонником Центральных держав. Под влиянием этой пары моя мать тоже стала проявлять легкие пронемецкие симпатии, чего, естественно, было достаточно, чтобы мы – я и мои братья – заявили о своих симпатиях к Антанте.

Я напряженно следил за передвижением линии фронта и с

торжественным выражением лица, будто от этого зависел ход войны, отмечал карандашом на карте каждую взятую деревню где-то недалеко от Реймса или Амьена. За этим фронтом для меня начиналась Европа, а русские и немцы были чем-то второсортным, смехотворным, варварским, вставшим преградой между нами и цивилизацией. Я чувствовал, знал, что, где цивилизация, там мой мир, моя родина, мое предназначение. В 1918 году эта плотина дала трещину и Запад начал по каплям просачиваться к нам. Это для меня стало не менее важным, чем обретение независимости. Я был в толпе, приветствовавшей Падеревского, ел «западный» шоколад, привезенный американцами, друзьями Янека Балиньского, разглядывал военную форму солдат генерала Халлера, издали видел автомобиль французского посольства...

И вот в это самое время в деревне, в Малошицах, у меня со старшим братом состоялся разговор. Я сказал:

– Хорошо бы сделать какой-нибудь настил, а то пока дойдешь до гумна или конюшни, можно утонуть в грязи.

– Пустая затея!

– Почему?

– Грязь она и есть грязь! Ну, сделаю я настил, а через три дня его разломают. А грязь не разломаешь. Потому что грязь она и есть грязь!

– Грязь только у нас! У других грязи нет! Люди как-то с этим справляются. Это только у нас грязь такая...

– Фантазер! Надо реально мыслить. У нас другое.

Другое! *Другой* для меня была, прежде всего, Европа. Там не правил этот характерный для всего Востока жуткий реализм, которого я наслушался от разных своих и не своих дядюшек, реализм, пасующий перед природой, заполненный убежденностью, что свинство *воистину* неизбежно и с ним не справиться, так что придется в нем тонуть. Францию и Англию я представлял себе как-то так: там люди вылезают из грязи, находят твердую почву под ногами, и тогда к ним приходит уверенность и свобода движений.

Позже, в Америке, я столкнулся с такой же мучительной ностальгией по Европе: те, кто знал, что они никогда не пересекут Атлантику, покупали себе что-нибудь европейское... фарфор, карту Парижа или Рима... и хранили это как святыню. Встречал я и таких, кто по этим картам изучил топографию Парижа и знал ее лучше, чем коренной парижанин.

О, каким прекрасным был тот год, 1918 год! Я тогда был еще слишком молод, чтобы понять всю красоту конца Первой мировой войны, значительно больше наполненного поэзией, чем конец Второй мировой. Тогда ощущалось какое-то волнующее пробуждение к новой жизни, наполненное надеждами, крушением монархий и жестких воротничков, усов и предрассудков «о чести», свободой тела вперемежку со свободой духа, крушением тужурок, лакированных штиблет, великое ослабление поводов для молодежи, радостно встретившей свое время, сильный порыв ветра свободы задрал юбки и явил взорам женские колени... И хоть я

не упивался этим, подобно старшим на несколько лет поэтам из группы «Пикадора», ставшим впоследствии «скамандри-тами», которые готовили свой старт, я уже чувствовал наэлектризованность в воздухе. Европа! Это слово вдохновляло меня не меньше, чем слово Польша. Европа окровавленная, но уже блистающая, восходящая, словно Луна, над тем, что еще совсем недавно называлось «Привислинским краем», над нашей губернией.

Тогда я не сформулировал это четко, но я чувствовал, что где-то вдали проступают очертания возможного освобождения от тех польских мерзостей, которые так меня мучили.

Послеобеденное время я тогда проводил у Балиньских, дом которых был, что называется, «просвещенным», «культурным», богатым многочисленными связями с Парижем, Лондоном, не чуждым литературы и искусства. Я, естественно, не был в числе званных к торжественным завтракам, на которых председатель Игнаций³ принимал папского нунция и других представителей дипкорпуса, но Стась Балиньский время от времени просвещал нас, молокососов – Казика, Зазу и меня, – и вводил в круг чтения поэтов «Пикадора» и «Скамандра», которые только начинали свое поэтическое наступление. Это была моя первая встреча с литературой. Я с восхищением выслушивал не только салонные сплетни о разных безумствах, эксцентрике, провокациях Тувима, Лехоня, Слонимского, но и первые их стихи, почти ни-

³ Балиньский. *Примеч. пер.*

чего в них не понимая. При всем при этом я оставался до мозга костей провинциалом, робким, деревенским, диким, немного маменькиным сынком, и хотя духовно я переживал с большой интенсивностью пробуждающуюся новую польскую жизнь, я был не в состоянии наладить с ней контакт.

Думаю, Стасику в голову не приходило, что этот робкий и неоперившийся Ита (это прозвище привез мне из Японии мой крестный отец, генерал Довбор-Мусницкий, и так меня тогда называли) со временем превратится во врага номер один «Скамандра» и многого того, что он, Стась, ценил, не подозревая, что пригрел змею на груди. Думаю, что до сих пор ему трудно поверить, что автор «Фердыдурке» и «Дневника» и есть тот самый кроткий Ита тех давних лет, благоговейно внимавший его поэтическим откровениям.

Но ведь я тогда ничего не мог сказать, не мог выразить себя! Практически ни перед кем! Со старшими, с родителями, с семьей, с чужими я был как парализованный, лишь с несколькими ближайшими друзьями я обретал способность говорить, причем совсем неплохо. И тогда во мне зрели бунты, которых я не мог ни понять, ни описать. На память приходят похороны одного родственника: за гробом шли Балиньские, чин чинарем, и многие другие, а меня тогда обуял демон, и я начал вести себя вызывающе, я засунул руки в карманы, пинал все, что попадалось под ноги, оборачивался на женщин, потом, к удивлению моих родителей, стал громко разговаривать с другими не менее удивленными моим по-

ведением участниками похорон, ну и в конце концов уже на кладбище у меня случился приступ смеха, и я задыхался, сдерживая в себе сумасшедший хохот над гробом...

А вот еще было дело: пошел я к нашему учителю рисования, художнику... не помню, как его звали.

– Я был на вашей выставке, господин учитель, – выпалил я ни с того ни с сего, – мне картины совершенно не понравились. Полное ничто! стыдоба! Просто удивляюсь на вас!

Этот художник имел надо мной то преимущество, которого сегодняшние художники не имеют. Схватил меня за ухо и поставил в угол в канцелярии, где в течение часа я глотал слезы возмущения и унижения.

По мере взросления я становился все более опасным. Мои школьные сочинения были лучшими, и это меня спасало, потому что в других дисциплинах я был неуч и лентяй. Как-то раз наш преподаватель, Чеплиньский, задал нам сочинение о Словацком. Уставший от вечного поклонения поэту, я решил для разнообразия всыпать ему по первое число. Начал, насколько помню, звучало примерно так: «Юлиуш Словацкий, этот вор, обокравший Байрона и Шекспира, так и не сумел придумать ничего своего». Продолжение не уступало началу. Преподаватель Чеплиньский поставил кол и пригрозил, что пошлет сочинение в министерство, на что последовал мой вопрос: почему он заставляет учеников лицемерить. И, чтобы окончательно уничтожить его, я привел строчку из его, Чеплиньского, томика стихов: МЕСЯЦ ЛЬЕТСЯ НА

СОСНЫ И СТРОЙНЫЕ ЕЛИ.

* * *

В трагическое лето 1920 года мне исполнилось шестнадцать лет и я закончил шестой класс. Летние каникулы я проводил в Малошицах. Военные сводки становились все более грозными и наконец стали доходить и до моего юношеского сознания. Большевики подходили все ближе. И тогда, уж и не вспомню, по какой причине, мы вернулись в Варшаву, где я и провел роковые августовские дни.

Это были тяжелые переживания. От мировой войны у меня осталось немного воспоминаний, тогда я был еще ребенком, а войну как таковую я почувствовал только теперь, войну с добавкой страха перед возможной революцией, и с тем, что касалось меня лично еще сильнее... страхом быть призванным в армию.

А тогда вся молодежь пошла в добровольцы, почти все мои приятели уже носили военную форму, на улицах было полно плакатов с надписями типа: «Отчизна зовет!», с которых в тебя тыкал палец, а девушки останавливали юношей на улице и спрашивали: «Вы почему еще не в армии?» Вспоминаю, как это возмущало мою бабушку. «Представь себе, Тося, – говорила она моей матери, – что за времена настали, какое бесстыдство, девицы, ни чуточки не стесняясь, пристают к молодым людям, а ведь молодой человек может ей от-

ветить, мол, вы, пани, мне не нравитесь!» Но вскоре бабушка перестала сокрушаться нарушением этикета общения молодых людей, потому что дело приняло нешуточный оборот.

Для меня армия – кошмар. Не война, не сражение, а казармы, форма, сержант, муштра, весь невыносимый воинский уклад, который был мне ненавистен. Мне, шестнадцатилетнему, случалось беспокоиться думать о том, что лет через пять меня ждет призыв, а тут, на тебе, История выкидывает фортель и барышни на улице уже теперь обращаются ко мне: «А почему молодой человек не в военной форме?» И хоть в классе я был моложе всех, я понимал, что при нынешних обстоятельствах моя молодость не сможет стать отговоркой. А моя мать в ужасе осуждала правительство за то, что оно «забирает детей», но и здесь я был уверен, что это всего лишь выражение ее эгоистического страха за собственного ребенка. По крайней мере в одном отношении я был на высоте: я не обманывал себя, не скрывал от себя, что боюсь армии и ни на что не гожусь.

Какое унижение! Тем более что я не был болен, не был калекой, да и вообще вроде все было при мне. Что же, получается, я был трусом? Сегодня я спокойнее отношусь к этой моей трусости, знаю, что натура моя готовила меня к выполнению каких-то особых задач и развивала во мне другие черты, ничего общего с армией не имеющие. Но шестнадцатилетний мальчик пока еще ничего о себе не знает, и нет для него спасенья, если он не такой, как остальные его

сверстники. Этот год, 1920-й, сделал из меня существо «не такое, как все», существо особенное, живущее на отшибе общества. Такой маргинальной жизнью живу я до сих пор; в дальнейших моих воспоминаниях я, может быть, объясню, как такое отчуждение от общества может сочетаться с работой для общества, каковой по своей сути является литература. Этот разлад с обществом, с народом, заставляющий искать собственные пути и самому отвечать за свою жизнь, начался для меня в том достопамятном году битвы за Варшаву.

Решительный протест моей матери оказался сильнее желания отца, который требовал, чтобы я «выполнил свой долг». Я был приписан к одному гражданскому учреждению (не помню его названия), которое занималось отправкой посылок солдатам на фронт. Размещалось это учреждение в здании университета, а работали в нем несколько барышень и пареньков, которым, как и мне, родители «не разрешили пойти в армию».

Мне трудно описать тогдашнее мое психическое состояние, оказавшееся таким важным для всего моего последующего развития. Я чувствовал себя униженным, но я был бунтарем; пережитое столкнуло меня в анархию, в цинизм, и я впервые восстал против отчизны, против государства и других инструментов коллективного давления на индивида. Я был достаточно честен, чтобы не опуститься до оправданий в ситуации идеальной однозначности. Я не имел права называться патриотом, коль скоро уклонился от армии в такой

момент. А впрочем, не меня одного не пустили родители в армию, много было шестнадцатилетних в различных гражданских учреждениях. Но такого рода аргументы – чушь, и я предпочел смотреть правде в глаза. Однако тогда я еще не мог выйти против общества с философией защищающего себя человека, я мог ответить только бунтом: я чувствовал себя одиноким, что я один против всех, что мне надо запереться в себе и никого к себе не подпускать.

То, что юношу насильно забирают в армию, что его заставляют давать присягу и что такая насильственная присяга трактуется как добровольно взятая на себя обязанность, что он на год или два становится рабом сержантов и офицеров, что от него требуют слепого повиновения и принесения в жертву собственной жизни, – все это могут проглотить лишь те, у кого армейская служба уже за плечами, или те, для кого рутина и обычай заменили непосредственное ощущение действительности.

Мой кузен, Бебуть Россет, – офицер известного своей боевой историей 1-го уланского полка – иногда захаживал к нам и приносил с собой атмосферу фронта и борьбы. Как-то раз я спросил его:

– Как можешь ты подвергать свою жизнь опасности лишь потому, что кто-то там прикажет тебе сделать это?

– Приказывает не «кто-то там», – возразил он своим кресовым говорком, – а вышестоящий офицер, то есть власть.

– Какая там власть, – сказал я ему. – Если его раздеть до-

гола, он точно такой же, как ты, если не хуже. Ну и почему же он имеет право посылать тебя на смерть?

Вместо ответа он спел куплетик:

Страшно, братец, в дуло нам смотреть,

Смотрит из него косая смерть.

А вернусь здоров,

То увижу вновь

Свой любимый город Львов.

Вот так мне и отвечали. Куплетиками, анекдотиками или, на худой конец, – общими словами на тему обязанностей и т. д. Тогда я был очень далек от интеллектуального освоения всех этих трудных вопросов, но уже начинал понимать, что человеческая жизнь в Польше мало чего стоит. В западной литературе, прежде всего во французской, к изучению которой я приступал, индивид имел больший вес. Человек и его существование были там чем-то важным, более важным, чем судьбы государств и народов. Еще я пытался хоть что-то понять из «Пролегомен к любой будущей метафизике» Канта, и здесь передо мной вставало фундаментальное значение того самого «я», которым так пренебрегали в моей родной стране.

Думаю, что 1920-й год сделал меня индивидуалистом, которым я до сих пор и являюсь. А произошло это потому, что я не сумел быть на высоте, не отдал своего долга народу в момент, когда над нашей только что обретенной независимостью

стью нависла смертельная угроза. Это загнало меня в жесткую ситуацию: у меня не было выбора. Патриотизм без готовности отдать за свою отчизну жизнь был для меня пустым словом. А поскольку этой готовности во мне не было, я был вынужден сделать выводы.

Естественно, со временем все эти бурления молодости приобрели цивилизованные формы и упорядочились. Но не исчезли. Недавно один знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии, прочитав одну из моих книг, удивился, что во мне так мало польского, ибо для него поляки – это героическая смерть на поле битвы, Шопен, польские восстания и развалины Варшавы. Я ответил ему:

– Я – поляк, но поляк, доведенный Историей до предела, до крайности.

* * *

Осень того года – 1920-го – я провел в Малошицах. Школы [варшавские] не работали: почти все ученики старших классов еще несли добровольную службу в армии. А когда прошли дни самой ожесточенной обороны Варшавы и победоносного наступления Пилсудского, меня отослали в деревню, чтобы я мог компенсировать потерянное в городе лето.

Это растянувшееся на несколько месяцев пребывание в Малошицах осталось в моей памяти особенно мрачным. Вы уже знаете, как сильно деморализовало меня то, что я

не пошел добровольцем вслед за своими одноклассниками. Униженный и взбунтовавшийся, прибыл я в Малошицы, где никого не было, кроме слуг и работавшей по хозяйству пани Беднарчик, с которой я играл в шахматы. Странное дело: казалось бы, весь этот вызванный военным кризисом и моей личной компрометацией водоворот чувств и мыслей должен был ввергнуть меня в мучительный душевный разлад, а он тем временем вылился в приступы болезненного снобизма.

Мой брат Ежи уже давно занимался приведением в порядок нашего семейного архива – сотен документов, самые ранние из которых относятся к концу пятнадцатого века. Достал их из сундука, разложил и приступил к изучению прошлого семейства Гомбровичей. Я тогда старательно подражал ему, так что и эту манию я перенял и вскоре имел очень подробные сведения об этих документах. Первым литературным произведением в моей жизни стала написанная в эти годы монография *Illustrissimae familiae Gombrovici*, как я ее претенциозно озаглавил. Осталась в машинописном варианте, впрочем, ничего такого в ней не было, потому что Гомбровичи никогда выше шляхты не выросли, но каждая подробность, относящаяся к имуществу, должностям или связям, наполняла меня блаженством и заставляла решительнее задираТЬ нос.

Как уживался этот глупый снобизм с другими моими особенностями, которые делали из меня мальчика смышленного, критически настроенного и тонко ощущающего комиче-

ское? Как это вязалось с моей анархией, бунтом, чтением философии, тягой ко всему современному? Загадка. Я был одновременно и умным для своего возраста, и удивительно неоперившимся, циничным и наивным, европейским и провинциальным, современным и отсталым, во мне гнездились все, вызывая резкие диссонансы, хохму, фальшь, компрометацию!

До сих пор я заливаюсь краской, когда вспоминаю о тех досадных промахах сорокалетней давности.

Вот один из них. В кульминационный момент боев с большевиками под Варшавой я как бы невзначай показываю моему начальнику (в организации, куда меня пристроили и которая рассылала посылки) фотографию внушительного здания.

– Это дворец моей кухни Тышкевич в Вистыче, – замечаю я как бы между прочим.

– Но ведь это здание... в Люблине, – холодно ответил начальник, всмотревшись в фото, и даже назвал учреждение, размещавшееся там. – Я прекрасно его знаю.

Такие обломы случались со мной на каждом шагу. Я стал искусственным и аффектированным. Мои тетушки с горечью констатировали: «Ах, бедняжка Итек! Так утомлен жизнью! Позерство!» Моя неестественность провоцировала неестественность тех, с кем я общался. Я был несчастен. Никак не мог найти своего места в мире. Все выходило у меня плохо, неудачно, все делало из меня посмешище, дискреди-

тировало меня...

В таком подавленном состоянии духа, в заполненные меланхолией и одиночеством осенние дни я отправился в Малошице. Там я охотился на зайцев, но больше всего бродил по полям и старался понравиться пани Беднарчик своей, простите, генеалогией.

В один прекрасный день в Малошице прибыло несколько (сам не знаю, откуда они взялись) офицеров, друзей брата Ежи. Я забыл подать им водку к обеду, им, офицерам кавалерии, – вот она, вершина моей отрешенности. Мне было настолько все равно, что я принес им эту водку после обеда. Я бродил по полям, понунив голову, и пинал комья земли.

Мир становился невыносимым. Все выглядело как злобная карикатура. Моя семья, моя социальная «сфера» – напыщенное, изнеженное, утонченное. Общество, народ, государство – враги. Армия – кошмар. Идеалы, идеологии – пустословие. Но хуже всех, самый неестественный и претенциозный – я сам: каждое слово было невпопад, все было не так, как мне хотелось, каждый мой жест был фальшивым.

Бог каким-то образом исчез с моего горизонта: нет, верить я не перестал, вот только вера меня не интересовала, я больше о ней не думал. И поэтому одиночество мое стало абсолютным. А еще, гуляя по деревне, я присматривался к моим приятелям прежних лет, деревенским парням из старой моей «гвардии», которые сейчас были на полевых работах. Вот они не были карикатурами! Простые и искренние. Ка-

кие-то настоящие. Каждое их слово звучало достойно. Я не мог понять, почему так: культура, образование, воспитание искажают человека, а вот неграмотность дает как раз положительный результат. И тогда у меня возникла мысль. Возникла как откровение, которое озарило меня на обратном пути в Варшаву, при обстоятельствах странных и драматичных.

Я сел в поезд в Чмелёве, а на следующей станции, в Бодзехове, в вагон подсел один из моих дядюшек, человек уже пожилой, сандомирский землевладелец. Путь он держал в Варшаву и расположился недалеко от меня в купе первого класса, где было полно народу, потому что тогда ездили как получится и никто не обращал внимания на классы. Дядюшка был отличным стрелком, и разговор зашел об охоте, хотя где я и где охота... Внезапно дядюшка окинул взглядом купе и голосом не слишком громким, но четко сказал:

– Попрошу всех выйти.

Наши попутчики посмотрели на него с удивлением. Тогда дядюшка достал из кармана револьвер, снял с предохранителя и повторил, не повышая голоса:

– Попрошу выйти.

Купе моментально опустело. В коридоре начался гвалт, позвали проводника, женщины плакали. Дядюшка закрыл двери купе и сказал, лукаво щуря глаз: «Наконец попросторнее сделалось. Была такая толкучка, что я сам не знал, что нес. С нервами плохо, спать не могу, вот еду в Варшаву, на-

деюсь, полегчает, а не полегчает, станет еще хуже...»

Я понял: он сошел с ума. Сошел с ума и будет стрелять, если его спровоцируют... меня прошиб пот. Я сумел объяснить кондуктору, что не следует его дразнить и что я постараюсь довезти его до Варшавы: остаток пути, много часов провел я наедине с сумасшедшим, который ни на минуту не расставался с револьвером. Мне пришлось его забавлять разговорами и в конце концов, не зная, к какому еще аргументу прибегнуть, я попытался воззвать к его амбициям: «Это ужасно, – сказал я ему, – что каждый землевладелец должен быть чудачком и вести себя так, будто у него шариков в голове не хватает».

– Ты так полагаешь? – спросил дядя. – Однако! Неужели землевладельцы в твоих глазах такие странные? А впрочем, я и сам часто это наблюдаю. Очудачились так, что слов нет! Видать, богатства им в голову ударили!

– Видите ли, дядюшка, у меня на этот счет своя теория, – заметил я поспешно, чтобы разговор не прервался. – Послушайте, дядюшка, это очень интересно. Видите ли, мне представляется, что простые люди имеют перед нами то преимущество, что живут естественной жизнью. Их потребности элементарны, и в результате ценности их просты, честны. Например, если простой человек голоден, то ценностью для него будет хлеб.

– Что ты говоришь, – уважительно заметил дядюшка.

– А для зажиточного человека хлеб перестает быть цен-

ностью, ибо этого добра у него достаточно. Мы живем облегченной, искусственной жизнью. Нам нет нужды бороться за выживание, вот мы и придумываем для себя искусственные потребности. Тогда ценностью становится папироса, или генеалогия, или борзые... Эта искусственность потребностей вызывает искусственность формы; вот почему мы такие странные и нам так трудно найти правильный тон...

Когда несколько лет спустя я рассказывал за литературским столиком в «Землянской», как я со страху перед готовым выстрелить револьвером самостоятельно пришел к этой, как сказал бы марксизм, диалектике потребностей и ценностей, меня упрекнули в том, что я придумал эту историю. А тем не менее все было именно так! И мысль об искусственности более изощренной формы стала одной из исходных точек моей писательской работы.

После этого военного потрясения школа началась с запозданием на несколько месяцев и без энтузиазма, поскольку дети нам, понюхавшим порошу, не по вкусу пришлись рутина и прогорклые науки несчастной школы. Мне также. Правда, Басиньский с Бракселем больше меня не делали мне буровича и мои умственные преимущества обеспечили мне в седьмом классе необходимый минимум уважения, зато теперь все отчетливее заявлял о себе абсурд школьной программы и всей системы образования. В «Фердыдурке» вы найдете описание урока польского языка и урока латыни, там

же описание «педагогического корпуса»: эти полные безумия сцены родились у меня уже тогда, в седьмом классе, когда я тонул в тошнотворно-приторном уроке Чеплинского (впрочем, преподавателя уважаемого), уроке о национальных поэтах, или с ужасом всматривался в нелепо-смехотворную фигуру нашего латинянина.

Здесь, в Аргентине, я много раз порывался подробно расспросить приезжающих из Польши о нынешней программе средней школы, но всегда разговор переходил на другие, как тогда казалось, более актуальные темы. Боюсь, мало что изменилось в лучшую сторону, поскольку система образования – страшно тяжелый и неуклюжий аппарат, изобилующий замшелой публикой, замшелыми идеями, у которого бедный щенок – эта жертва образования – на самом дальнем плане, а самое важное – дать работу учителям, этой многотысячной армии бюрократов. А еще школа должна продолжить воспитание «в национальном духе», и это означает полную потерю возможности широко взглянуть на всю мировую культуру. Локальные сражения вырастают до размеров исторических событий, а о действительно важных фактах почти не вспоминают.

Как-то раз между мною и нашим полонистом, преподавателем Чеплинским, которого я ценил за его мягкий скептицизм в изложении материала, произошла такая вот полемика:

– Господин преподаватель, почему польские школьники

учат не то, на что на самом деле стоит тратить силы, а вынуждены вбивать себе в головы какую-то второсортную чепуху?

– В чем дело, Гомбрович? Что все это значит?

– Все очень просто. На уроках польского мы вынуждены зубрить Мицкевича, Словацкого и Краси́ньского, что абсолютно второсортно с точки зрения мировой литературы, уж и не говорю о Товья́нском. При этом мы понятия не имеем о Шекспире или, скажем, о Гёте. Мы теряем время на изучение войн с турками, а об истории Европы или мира мы почти ничего не знаем. А латынь? Из-за нее у нас нет времени на настоящее знакомство с Римом или с Грецией, и, честно говоря, мы понятия не имеем об этих культурах. Чего стоит такое учение?

– Вы, Гомбрович, возможно, отчасти правы. Школа могла бы несколько больше внимания уделять мировой культуре. Только попрошу вас не забывать, что мы – поляки.

– И что с того?

– Вы, Гомбрович, забываете, что совсем недавно Жеромского и его коллег преследовали за то, что в школе они говорили по-польски.

– И что с того? Ради этого мы обречены оставаться недоучками?

До сих пор, спустя много лет, я отчетливо слышу этот свой саркастически-высокомерный тон, которым было произнесено слово «недоучки». Я ничего не желал знать о сентиментализмах времен национальной несвободы, о патриоти-

ческих доводах: я требовал просвещения и образования, которое опиралось бы не на мелкие (если смотреть с мировой перспективы) польские достижения, а на самые замечательные общечеловеческие ценности. Я и сегодня разделяю эту точку зрения. Признак нездоровья, когда отчизна становится ширмой, отгораживающей человека от мира, это нездорово для самой отчизны. Но тогда я еще не знал, что системы образования в других странах такие же косные, как и польская.

Взять хотя бы Аргентину, чья история насчитывает только 150 лет и у которой не было серьезных проблем с отстаиванием независимости; казалось бы, может страна позволить себе более широкую, общечеловеческую школьную программу. Куда там! Чем меньше у людей истории, тем больше они ею – в качестве компенсации – загружают школьников. У них есть свои великие личности, так называемые *proseres*⁴, но о многих из них можно сказать, что на безрыбье и рак рыба. Результат же таков: средний аргентинец, в голове у которого только знания о местных генералах, имеет слабое представление об остальном человечестве. К счастью, аргентинская литература настолько плоха, что они вынуждены читать иностранные книги. А вот мы, поляки, страдаем от неплохой литературы – она вполне хороша, чтобы заполнить наше время, которое мы выделяем на чтение, но недостаточно хороша, чтобы уравновесить возникший в связи с этим недостаток знания великих мировых писателей, на изу-

⁴ Proseres – национальные герои (исп.).

чение которых времени уже не остается.

Боюсь, что теперешняя польская школа не слишком отличается в этом отношении от той, что была лет сорок назад. Что с того, что — как я себе представляю — из программы убрали латынь вместе с ее возвышенной глупостью и что наверняка ввели больше часов для точных наук и больше техники? Школа должна стать не фабрикой инженеров или адвокатов, а тем, кто выпускает в свет людей, которые ориентируются в мире и в человечестве. Имеет ли ученик хоть какое представление о современной мысли, нет, не о той профессиональной, косной, а о самой широкой, самой глубокой? Знает ли он что-нибудь о Канте, Шопенгауэре, Ницше, Гегеле? Известно ли ему, кто такой Кьеркегор и слышал ли он об экзистенциализме? Знает ли он, что такое сюрреализм? Знакомы ли ему великие духовные течения, создавшие Европу? Или же его знание ограничено Польшей и практическими соображениями?

Вместо того чтобы открыть ученику глаза на мир, марксизм, к сожалению, еще сильнее закрыл их. Лекции по диалектическому материализму очень похожи на уроки религии в иезуитских школах восемнадцатого века: эту доктрину представляют как единственно верную, и таким образом марксизм становится железным занавесом, изолирующим их от всех достижений Европы. Маркс был человеком неглупым, настоящим европейцем, и оставался им до тех пор, пока его не препарировали марксисты. Провинциализм

русской коммунистической мысли, пронизанной детским зазнайством и приписывающей русским все когда-либо сделанные изобретения, тоже, должно быть, оказывает некоторое влияние на школу в Польше.

По данным ЮНЕСКО от 1953 года, польская школа заставляет учеников тяжело работать. Двести двадцать дней – таков учебный год и 6840 академических часов, тогда как в Штатах – 180 дней и 5400 часов, а в Бельгии 200 дней и 4800 часов. Если я чему-то и учился в школе, то скорее на переменках от одноклассников, когда они меня колотили... кроме того, я воспитывался на чтении книг, особенно – запрещенных, а также на ничегонеделании, потому что свободно блуждающая мысль бездельника это как раз то, что больше всего развивает интеллект. А потому не слишком мне нравится огромное количество учебных часов, лишаящих школьника личной жизни, а если к тому же эти часы будут заполнены учебой неумной, косной, направленной лишь на создание профессионала с автоматической душой марксиста, тогда плохи наши дела – мы останемся непросвещенным народом.

В то время догорали формы, которые еще совсем недавно были полны жизни... а я смотрел на все это с дикой радостью подростка, устремленного в будущее. Догорало представление о чести, той прежней, величественной и грозной чести с секундантами, цилиндрами, дуэльными пистолетами

и протоколами. Хорошее воспитание требовало непременно представляться: если завязывался разговор в поезде, то после нескольких фраз следовало встать и сказать: «Разрешите представиться. Я – Икс». Надеюсь, что в Польше больше не актуален анекдот, который я слышал в годы моего детства. Некий пан, зайдя в туалет, обнаружил, что в кабинке нет бумаги. Он карабкается по перегородке, отделявшей его от соседней кабинки, и говорит: «Позвольте представиться, я – Икс. Не мог бы я попросить милостивого пана поделиться бумагой?» На что другой, в свою очередь, тоже взбирается по перегородке и говорит: «Очень приятно. Я – Игрек. Извольте, вот бумага». Думаю, что этот анекдотец уже вышел из моды, а впрочем, не поручусь.

Дамам целовали ручки, а на больших приемах – беспрерывное чмоканье ручек, тянущихся с кушеток. Заканчивался век крахмальных воротничков, гетр, тростей, брюк в полосочку, жакетов, тужурок и многих других вещей, коим несть числа. Впрочем, иногда о себе заявляла честь, кроваво заявляла. Был случай: один офицер не пожелал подчиниться требованию кондуктора и предъявить билет: «Вы не верите слову польского офицера?» – спросил он, насупив брови, и выстрелил, когда кондуктор призвал полицейского. Может быть, в наши дни честь немного ослабила поводья (лишь бы не слишком), только я вот не совсем уверен, что пролетарская Польша излечилась от церемониальности. Господа инженеры и господа адвокаты, приезжающие сюда, в Аргенти-

ну, из Польши, все еще слишком пафосно выглядят на фоне свободы местных обычаев, а их манера общения не освободилась от титуломании, которая раньше была шляхетской, а теперь стала мещанской и бюрократической.

Когда обычаи исчерпывают себя, на них нападает что-то вроде склероза, они деревенеют: из них уходит живое содержание и остается только скорлупа «чистой формы», как сказал бы Виткевич. Так вот, меня этот формализм увлекал, дразнил и восхищал в художественном плане: в моем творчестве полно таких умирающих форм; несколько раз, например, прокручивается сцена дуэли, не говоря о прочем – придворном и аристократическом – церемониале. Происходившие в нашей жизни резкие изменения заставляли меня все больше обращать внимание на роль формы в жизни, на то, как жест или выражение лица сильно влияют на нашу глубинную суть. Я думаю, что я ощущал все это так остро потому, что мне пришлось вступать в жизнь в тот момент, когда умирающие формы уходящей эпохи еще были живы и могли огрызнуться... мы, например, в школе, еще отвешивали друг другу высокомерные и звонкие оплеухи, хотя о завершении их дуэлью уже не было речи. Оскорбленный должен был дать сдачи, если не хотел быть обесчещенным, но тогда и его противник тоже, в свою очередь, должен был дать сдачи, поскольку неписанный закон гласил: побеждает тот, кто сделает это последним. Как-то с Тадеком Кемпиньским мы пару раз прошли через школьный двор, угощая друг дру-

га тумакami и оплеухами, после чего лицо мое раздулось, впрочем, и его тоже.

Странными казались мастодонты минувших времен, блуждавшие по новой демократии, с каждым днем захватывавшей все больше сторон жизни. Тем не менее там и сям выскакивали анахронизмы, и время от времени вплоть до конца межвоенного двадцатилетия выстреливали несусветными чудачествами. Помню, в 1936 или в 1937 году мой брат попросил меня подыскать управляющего помещьем. В назначенный час явились несколько кандидатов, и среди них был молодой блондин, который передал через служанку мне свою визитную карточку, весьма изысканную, на которой красовалась фамилия с титулом и гербом. Краткое собеседование выявило у него отсутствие нужной квалификации; тогда он встал и попросил вернуть ему визитку. – «Как это? Зачем?» – спросил я. – « Попрошу мне вернуть визитку», – потребовал он. Я стал искать, но, как на зло, она куда-то подевалась. – «Я не уйду, пока вы не вернете мне карточку!» – «Да далась вам эта визитка, на что она вам?!» – «Это не простая визитка, это визитка с гербом, и я не уверен, что вы отнесетесь к нему с должным уважением. Я не позволю, чтобы мой герб был брошен в мусорную корзину... или еще того хуже!» Поняв, что я в шаге от вызова на дуэль, я облазил все углы и в конце концов нашел визитку.

Одной из самых важных формальных перемен того богатого на перемены времени было исчезновение волос на муж-

ском лице – не только бороды, но и усов, – изменение сильное, громадное, если принять во внимание, что бородач или усач это совсем другой тип человека, чем бритый. Я склонен считать, что последствия этого события – в искусстве, в морали, в отношениях людей, в политике, в метафизике – оказались грандиозны и легко узнаваемы. Никогда не забуду того крика, который подняла моя кузина, когда увидела моего отца с гладко выбритым лицом: он только что, в соответствии с духом времени, оставил в парикмахерской бороду и усы. Это был крик испуганной женщины, оскорбленной в самых сокровенных своих представлениях о приличии: если бы вдруг он предстал перед ней голым (но с бородой и усами), то ее крик, возможно, не был бы таким пронзительным. Собственно говоря, она была права, ибо столкнулась с отъявленным бесстыдством: отцовское лицо, до сих пор всегда прикрытое густой растительностью, теперь скандально выставляло себя напоказ.

Именно так перед нами, подростками, проступал лик эпохи, и мой уже тогда довольно тонкий вкус четко диктовал мне, что одни действия или мнения соответствуют «духу эпохи», а другие нет... что для этих «других» означало смертный приговор. И хотя меня то и дело заносило в самые разные анахронизмы (типа снобизма, о котором я уже говорил), любовь к своему времени была во мне очень сильна и вместе с ней – ощущение солидарности со своим по-

колением. Уже здесь, в Америке, у меня был разговор с одним моим ровесником, писателем из Центральной Америки, и он признался в той же самой «слабости» и даже красочно сформулировал ее. «Тогда для своего поколения, – сказал он, – я мог бы принести в жертву своего отца». Почему даже Америка не избежала тогда обольщения историей, которое не дано сегодняшней молодежи? Да потому, что тогда было время освобождения, многообещающая эпоха не для одних поляков; это ведь только некоторое время спустя судьба обрушила на нас один за другим свои удары, и все обернулось кровью, болью, тоской и гнетущей серостью... Тогда мы еще не знали, что в двух разбитых войной империях уже занимается зарево грядущей катастрофы.

После Первой войны многие сообщества, стили, проявления духа прекратили свое существование, но блистательнее всех заканчивали свой век землевладельцы, шляхетский дух. То был дух помпезный, который еще вчера правил страной, дух, выработанный традицией, отполированный литературой, содержащий в себе почти все красоты польского языка, всего польского. Ну и зрелище же было: муки истинных шляхтичей, добродушных, благочестивых, дородных телом, но ограниченных в некоторых других отношениях, а когда все у них стало утекать как вода сквозь пальцы, они были вынуждены выступить против всего нового, крепко сжав в кулак горсть трюизмов из Вейсенгофа и Сенкевича! Как

же повезло молодому садисту: и я с вожделением занялся провокациями в разных сандомирско-радомских поместьях и поместьицах. Рабочее движение меня тогда еще не интересовало, с коммунизмом я не сталкивался, в социализм не верил: при первом знакомстве он показался мне нудным проектерством.

Близился экзамен на аттестат зрелости. Я оказался в несколько затруднительной ситуации, поскольку уже несколько лет не заглядывал в учебники, а на уроках занимался тем, что придумывал себе все более замысловатую подпись с завитками и без них, упражняясь в ее написании, и легко переходил из класса в класс. Еще в четвертом классе директор Ячыновский обругал меня за то, что я пришел в школу без учебников, взяв с собой лишь маленький блокнотик. Моим ответом на это был посыльный (тогда на перекрестках можно было найти таких), который вошел за мной в здание школы, таща мой ранец с книгами.

Казик Балиньский и Антось Васютиньский были сильны в математике и сидели за первой партой – их подсказкам и шпаргалкам я обязан своими успехами на контрольных. В других дисциплинах, не столь страшных, меня спасали врожденная смекалка, красноречие и исключительная способность заморочить голову преподавателю. Но я ехал на троечках. Меня только один раз отправили на переэкзаменовку – по латыни, но учеником я был плохим и стремился лишь отработать минимум, без которого невозможно было

перейти в следующий класс.

В тот день, когда обнаружится вся правда о школьном образовании, — а этот день придет еще не скоро, — человечество окажется перед лицом гигантской мистификации и монструозного обмана. Тогда выяснится, что учитель мямлит, ученик не слушает, никто ничего не делает; выяснится, что ученик обманывается, а учитель позволяет обманывать себя; что в тридцать часов интенсивного обучения можно уместить три четверти того, что дает современная школа. Школа в ее нынешнем виде прекрасно готовит человека... но только для чиновничьей, канцелярской работы, для бюрократической траты времени и умения делать вид, что работаешь. Это растянутое, невнятное, бюрократическое, апатичное обучение являет собой противоположность обучения настоящего — внятного, интенсивного и увлекательного.

За несколько месяцев до выпускного экзамена я ощутил весь ужас своего положения. Долгие годы я пренебрегал систематической учебой, понятия не имел о латыни, алгебре, тригонометрии, да и по другим предметам я был выдающимся ослом... Я должен был сдать пять письменных экзаменов и восемь устных. Как быть? Как последовательный бездельник, я решил ничего не делать, тем более что делать было нечего, кроме как отдаться воле Всевышнего. Так подошел грозный апрельский день 1922 года: мы заняли места в самом большом школьном зале, каждый за отдельным столом, дабы сделать невозможным списывание, и в мертвой тишине

нам объявили тему сочинения. Я довольно много написал и остался вполне доволен собой. Настоящая трагедия пришла на следующий день, когда на мою парту легла бумага с латинским текстом, который надо было перевести. Окинув взглядом несколько предложений, я понял, что ничего не знаю, ничего не хочу знать, что и трех слов не переведу. Тишина была мертвая. Один за партой перед идиотской бумагой, один на один с этой латынью – никогда еще убийственный абсурд не бил по мне с такой силой.

То же самое повторилось, к сожалению, на письменном экзамене по математике. Мой математический антиталант заявил о себе во весь голос. На задачу по тригонометрии я набросился со смелостью обреченного и, ко всеобщему удивлению, через десять минут решил ее. У меня все так хорошо получилось: сложить несколько цифр – и готово. Но я знал, что как-то слишком хорошо получается, чтобы это было правильным, и в ужасе не переставал искать другие решения... и снова и снова въезжал, как поезд в тупик, в это простенькое, ладненькое, бьющее в глаза своей очевидностью решение. В конце концов, я сдался – ведь против очевидности не попрешь – и, утопая в самых мрачных предчувствиях, сдал тетрадь. Я знал, что получу по тригонометрии кол, но что было делать, если все так гладко получилось? Так, кол по тригонометрии, кол по алгебре, кол по латыни – три единицы увенчали мои старания. Казалось, что спасения нет.

Зато по сочинению я получил пять с плюсом. И по фран-

цузскому, который знал неплохо, тоже пять с плюсом. Экзаменационная комиссия встала в тупик и решила послать мои работы в министерство, из которого поступил благоприятный для меня ответ: сдал. Аттестат зрелости мы отмечали в квартире так называемого Председателя, а именно – Метекса Грабиньского на улице Ерозолимской⁵, что прямо напротив Главного вокзала. Я упился, как и все, и блевал из окна шестого этажа прямо на улицу, но не заметил по пьяни, что внизу было кафе со столиками на тротуаре. Крик снизу быстро привел в чувство и заставил нас, готовых стоять на смерть, забаррикадировать входную дверь.

То лето я провел на Балтийском море, в Сопоте. Что мне предстояло изучать в университете? Ничто меня, честное слово, не привлекало, ну разве философия, но уже тогда я понял, что для того, чтобы иметь представление о ней, надо пойти в книжный магазин, купить книги и почитать, не теряя времени на лекции и семинары. Поэтому я выбрал самый удобный и самый привлекательный для лентяев факультет – юридический. Осенью стал посещать лекции Кошембара-Лысковского, профессора римского права.

Однако вскоре я перестал появляться в университете. Юриспруденция оказалась нечеловечески скучной да и сокурсники не слишком интересными. Когда я читаю в дневниках Жеромского о его университетских годах – колорит-

⁵ Так у Гомбровича, но на самом деле недалеко от Главного вокзала Варшавы пролегла улица Аллеи Ерозолимске. *Примеч. пер.*

ных, богатых дружбами, наполненных политикой, мечтами, стихами и прочей патетикой, «гениальной студенческой болтовней», как он пишет, — я завидую ему: судьба лишила меня этих подъемов духа. Странное дело: хотя Жеромский созрел очень быстро и в возрасте двадцати с небольшим лет уже имел бороду на лице и много разбитых сердец на счету, не говоря уже о других жизненных испытаниях, я, по сравнению с ним, щенок и маменькин сынок, однако в каком-то другом отношении я был значительно более зрелым. Моя зрелость проявлялась в убежденности, что «жизнь — это жизнь», как говорили мои дядюшки в деревне, и что никакие реформы, акции, порывы, никакая борьба не добавят ни капли разума моим сверстникам, и что у них не получится сделать из мира рай. Я был реалистом до мозга костей и испытывал отвращение к иллюзиям, пустословию и бумажным теориям. Я ненавидел восторженность.

Есть такой афоризм (не знаю, кто его придумал): «Когда тебе двадцать лет — ты поджигатель, а после сорока — ты пожарный». К счастью или к несчастью, скорее к несчастью, если речь идет о моей личной жизни, я записался в пожарные уже в районе двадцати и со скептической усмешкой прислушивался к громким разговорам и песням беспокойного, как это всегда бывает в истории, студенчества. Сегодня я не корю себя за это. Отсутствие этого духовно-физического бурления ни в коей мере не означает ни мягкости, ни податливости — англичане могут служить примером, — и можно прекрас-

но отдавать себе отчет во всех бедах нашего беспокойного легковерия, а заодно и во всей непростоте жизни и в то же время твердо стоять на том, что считаешь ценным в жизни. Возможно, меня уже тогда одолевало предчувствие надвигающегося банкротства, глубинное предвидение, что стеклянные дома обречены на мощный удар кованого сапога. Я не принимал участия в празднованиях по поводу независимости, держался в сторонке, а когда на улице меня настигали звуки военного марша и ритм проходившего рядом отряда, я старался сбить шаг, чтобы идти не в ногу. Может, я искал какую-то свою музыку и свой марш? Но вот беда: я тогда еще не знал, с чего начать. Кем быть? Адвокатом? Судьей? Дельцом? Преподавателем? Философом? Художником? Мелким землевладельцем? Все эти роли были мне в принципе доступны, но ни одна из них не была мне по душе.

Одно роднило меня с моим поколением... я никак не мог найти «свою» реальность. Я брал книгу за книгой и говорил: «не то». Читал газеты разных направлений и говорил: «не то».

Осенью того года я разболелся: легкие. Это была так называемая верхнедолевая пневмония, сопровождавшаяся небольшим повышением температуры в вечерние часы, но мать перепугалась и решила отослать меня в деревню. Мой брат Януш недавно женился, а его жена оказалась собственницей имения Поточек неподалеку от Илжи: имение было в лесах, которые прорезала полоса из пяти прудов, растянув-

шихся рядом на несколько километров до самой деревни, — пейзаж поистине вейсенгофовский. Брат с женой жили тогда в Малошицах и редко заглядывали в имение. Вот и решили, что в этот Поточек, пропитанный сосновым духом, я должен поехать на всю зиму. Отправляясь туда, я не догадывался, что меня ждет.

Дом в лесу это всегда нечто меланхоличное. Но дом в лесу, когда в нем нет никого, когда не нарушенные фонарями сумерки сами умирают, когда ночь это настоящая ночь вместе со всеми своими фуриями, с отчаянным лаем и воем собак... Правда, был я там не один. Мне оставили повара, который прекрасно кормил меня, борясь с моей худобой, а еще был у меня слуга Болек и несколько местных девок крутились в кухне; и все-таки я был один как перст, потому что эти люди не могли составить мне компанию. По вполне понятным соображениям я не мог позволить себе никакой эксцентрики, фамиллярности... не мог «деморализовать» слуг, и мне приходилось вести себя тактично. Молодой «барин» садился за стол, на котором его ждала, допустим, заливная рыба, выпивал рюмку водки, бросал несколько фраз типа «как дела, Болек; видел, сколько снега навалило за ночь?», а днем шел в лес с ружьишком. Меня аж распирало от еды. В доме было жарко натоплено. Слуги угождали мне всем чем могли. А я скучал и жрал, жрал и слонялся по лесу, возвращался в дом и снова жрал, ложился спать и вслушивался в перебorex собак, в ночные шумы и в еще худшую, чем шумы, тишину,

разгоняемую по всей округе колыханием сосен и елей.

Правда, было у меня и занятие: я писал работу на тему «Солидаризма» Леона Буржуа, французского социолога. Семинарское задание. Однако вся эта социология была такой скучной, что вскоре я ее забросил. Что делать? Глухое беспокойство, растущее ощущение, что что-то здесь со мной в этой усадьбе не так, что я слишком долго сижу здесь, что уже пора как-то оправдать свое существование, покончить с этим начинавшим душить меня сибаритством... я лихорадочно искал выход, хоть что-то предпринять, начать действовать, очистить себя усилием... но вот вопрос: делать-то что? А в ответ – тишина заснеженного леса вокруг. В конце концов я не выдержал и чуть ли не в отчаянии, не зная, куда бежать и где спрятаться, принялся набрасывать роман про какого-то бухгалтера, и... постепенно втянулся, и начал систематически над ним работать.

Работа была странной – она отравляла жизнь. Начинающему писателю трудно все, даже просто поведать о том, что «она села и попросила стакан воды», становится для него проблемой. Я писал, сопя и кряхтя, через силу, пытаюсь вывести эту мою прозу на высоты искусства, где она, трепещущая и блистающая, смогла бы занять свое место. Писательство оказалось работой тяжелой, потруднее, чем у кучера или повара, и это очищало мою совесть, но и при всем при этом работа моя была какой-то подозрительной, чем-то ненастоящим, хоть и трудным, тяжелым, но все-таки не вы-

зывающим уважения... тогда я впервые столкнулся с ощущением стыда, которое сопровождает любую артистическую деятельность, а особенно ту, что не снискала пока признания и не пользуется спросом. Этот стыд угнетал меня долгие-долгие годы... лишь совсем недавно слегка отпустил.

Родившееся с такой болью произведение оказалось неуклюжим. У меня не только не было юношеских талантов Красиньского, который уже в свои двадцать написал «Небожественную», но моя внутренняя дикость, литературная неотесанность, все мои брожения и неумения лишили меня даже той гладкости стиля, которую легко может наработать молодой человек, вращающийся в литературных кругах.

Я прочел отрывок брату с женой, когда они заехали ко мне.

– Жуть, – сказал Януш. – Выброси эту гадость, стыдоба, и никому не говори, что ты этим занимался, а на будущее выбери себе что-нибудь другое...

Жена брата, которую в семье называли Пифинка, заметила:

– Как жаль, а мог бы приятно поохотиться.

В душе я согласился с ними, написанное сжег и вернулся к социологии. Но этот мой первый опыт обнаружил, что в поточковском одиночестве дала знать о себе давно снедавшая меня депрессия. Вскоре после приезда моего брата и его жены произошло нечто удивительное, оказавшее существенное влияние на мою психическую жизнь.

А произошло вот что: как-то раз я проснулся среди ночи, почувствовав, что на моих ногах кто-то сидит, и догадался, что ко мне на кровать влезла большая собака, которая иногда заходила в комнаты из кухни. Я сбросил ее ногами и прикрикнул «пошла вон»! Собака огрызнулась и ушла, но я ее не видел – темно ведь было.

И в тот самый момент меня за горло схватило страшное подозрение... нет, пожалуй, даже уверенность, что это была не собака, а некое другое, во стократ более страшное существо... В доме я был один, за окнами скрип колодезного журавля на ветру и капание с крыши тающего снега, полнолуние, но свет почти не проникал через плотно зашторенные окна. Окаменевший от страха, я попытался объяснить себе, что нет оснований допускать, что эта собака была не просто собакой, но, как и всегда в таких случаях, сразу приходит в голову вопрос: «Если это так, то почему мне в голову пришла именно эта мысль и почему так сильно задела меня, – наверное, в этом что-то есть, что я испытываю страх без видимой причины...».

До утра не сомкнул я глаз, да и день не принес мне облегчения, меня постоянно преследовала мысль: за этой собакой что-то кроется... она – выражение чего-то такого страшного, о чем пока неизвестно... и о чем я не могу получить ясного представления... Так я провел несколько ночей и дней, вроде как на пороге открытия какой-то ужасной тайны, не в силах отдернуть занавеску...

И тут все вдруг стало ясно!.. Внезапно в моей голове вспыхнул огонь!

Я вспомнил... то ли кто рассказывал мне, когда я был еще ребенком, то ли я сам присутствовал при этом... Короче, как-то раз у моих родителей гостил сандомирский епископ Рыкс и рассказал, как к нему явился злой дух, когда он ожидал рукоположения в священники. Ночью он почувствовал, что кто-то сидит у него на ногах. Никак собака. Он сбросил ее ногами. «Собака была какой-то необычно тяжелой, а упав, издала металлический звук, – рассказывал епископ. – В свете луны я увидел не собаку, а маленького – в полметра ростом – человечка, вроде как из металла, и воскликнул „Всяк дух Господа славит“, и тогда это нечто огрызнулось и скрылось под шкафом. Потом оказалось, что в том месте пол был обожжен. Я выбежал из дома на улицу, хоть мороз стоял на дворе, и всю ночь провел под открытым небом».

Теперь понятно! Этот рассказ засел у меня в подсознании и превратил милого песика, которого я прогнал, в воплощение дьявола. И только сегодня я вижу, что этот инцидент имел для меня далеко идущие последствия... дни, проведенные в тени этой зловещей загадки, вывели меня на неизвестные доселе окраины духа, до которых не так просто добраться по натоптанным дорожкам. Они столкнули меня с Загадкой, с Маской, указали мощь скрытых значений, вырвали из повседневной рутины и окунули в пафос, в драму нашего истинного положения в мире. Эти полусонные откровения да-

ли понять, что существует язык пророческий и мощный, и к нему мне не раз приходилось обращаться в моих более поздних художественных работах.

* * *

О студенческой жизни я мало что могу сказать, потому что почти не участвовал в ней. Что касается занятий на юридическом факультете, то они свелись к двухмесячному умопомрачительному вкалыванию перед экзаменами, единственный плюс которых, что все они проходили в один и тот же день. После этого героического усилия я мог отдыхать в течение десяти месяцев до нового испытания, от которого зависело, перейду я на следующий курс или нет.

Я тогда занимался очень мало, а в университете почти не появлялся, поскольку посещение лекций было не обязательным. Интересно, удержалась ли до сих пор эта умная система обучения, которая позволяла студенту, да и вообще зарабатывающему на жизнь, максимально экономить время? Политика меня тоже не интересовала. Так чем же я жил? Увлеченно играл в теннис, иногда в шахматы, читал, болтал с приятелями... короче, предавался лени. Но лень эта не была абсолютной, как может показаться. Я в эти годы получил – сам не знаю как – интеллектуальное превосходство над окружением, постепенно стало прорисовываться, что я умнее, чем они... Как это произошло, благодаря чему, было ли это до-

статочно заметным? Как это сочеталось с моим нелепым образом жизни и наивностью во многих вопросах? Ах, уж и не знаю, не спрашивайте, все это растворено в бесконечности будней, но как-то так сложилось, что я у них слыл «умным», что моя отличительная черта ум, а не что-то иное. Мне это очень льстило, и когда мои кузины умоляли меня «объясни, ведь ты такой умный», я понимал, что еще не до конца обанкротился. Разве что... Мой ум был подвешен к потолку и дрыгал ножками, неспособными найти твердую опору ни в чем. А что еще хуже: у меня не было нигде определенного места. Я не принадлежал ни к артистической, ни к интеллектуальной среде. Не состоял ни в одной из групп, не примыкал ни к какому движению. Был вроде как из деревни, но ничто меня с деревней не связывало, и я с трудом смог бы отличить овес от пшеницы.

— Когда я еду к кому-нибудь в гости с моими братьями, — говорил Ежи, — одного только опасаясь: чтобы Януш где не прикорнул и чтобы Витек не наговорил глупостей.

Говорить глупости — было в те времена, несомненно, одним из самых любимых моих занятий. Но сегодня, позвольте заметить, я далек от того, чтобы осуждать тогдашнюю свою жизнь, в одиночку, не привязанную ни к чему, мечущуюся от одного к другому, лишенную опоры, дисциплины, нормы и формы, несуразную и неоперившуюся. Более того, я даже склонен считать, что она стала для меня самой высокой школой, своего рода суперуниверситетом, в котором непонятно

как сформировалось то, что потом позволило мне выбиться в мир. Человек – существо общественное, и тот, кто быстро и легко находит свою компанию, быстро приобретает навык, то есть получает богатую палитру умений... но в нем не откроется источник глубинных его энергий, он останется инструментально полезным, но поверхностным и ограниченным.

А поскольку пребывание в Поточке не вылечило меня до конца, я поехал на лето в Рабку.

Вспоминаю, что пребывание в Рабке еще больше обострило мои и без того напряженные отношения с людьми. В том странном пансионате, где я остановился, я оказался в компании будто нарочно подобранной коллекции типов, являющей собой польское смешение стилей и польского гротеска. Мы ели за общим столом, но ни одна из сидевших за ним особ, не была настоящей: дамы были претенциозными, аффектированными или же, наоборот, чересчур скромными, или меланхоличными и опечаленными, или властными и активными. Что касается мужчин, то среди них не было двух похожих, и, осознавая свою исключительность и вместе с тем не слишком уверенные в себе, во всем выискивающие намеки (точь-в-точь как я), они постоянно пребывали в наступательно-оборонительной войне. Вот и я сразу мобилизовал свои обиды и повел себя провокационно, что вскоре обросло не слишком приятными последствиями.

Одна из этих дамочек имела огромное преимущество пе-

ред нами, так как несколько лет провела в Англии, а значит, была «европейкой». Пребывание в Англии должно было, по идее, научить ее сдержанности и простоте, но имело место нечто противоположное: при каждой совместной трапезе она изводила нас своей европейскостью, а это как раз был один из моих комплексов, поскольку тогда я еще не был в состоянии определить ни польского, ни своего собственного отношения к Европе. Короче, я не выдержал и сказал, может, не слишком громко, но достаточно четко:

– Лондона объелась, вот у нее теперь после него отрыжка...

Получилось наверняка не слишком остроумно и не вполне деликатно. Зато естественно для меня тогдашнего – тяжело и агрессивно. Не знал я тогда, что меня ожидает. Англичанка испепелила меня взглядом и что-то сказала о невоспитанных молокососах. Тему подхватил весь из себя властный и безумно достойный пан, добавив несколько слов о грубости, столь присущей неумным студентам, а другой господин – весельчак – захихикал дискантом. Я смолк, почувствовав себя несчастным. Я был тогда смесью грубости и бесконечной деликатности, и вот эта последняя парализовала меня: сидел, как на смотринах, пристыженный, и молчал. И тогда в силу тех самых зацепок, которые образуются в таких компаниях, наполненных странностями, раздражениями, вечной полемикой, еще один достойный господин, судья в отставке, обрушился на свою дочь за то, что та играла в

карты перед обедом и запретил ей это на будущее.

— Надо знать, с кем играешь!

Его слова вызвали новое замешательство, суть которого я не совсем понял, но догадался, что это опять по поводу меня. Повеяло холодом. Все замолчали. А после обеда между мужчинами началась суета: ведь и они принимали участие в этой игре, и теперь вроде как были оскорблены и решили потребовать объяснений. Каждый из них послал к судье своих представителей с вопросом, не его ли имел в виду пан судья, когда сказал «надо знать, с кем играешь». Дошла наконец очередь и до меня. Но к тому моменту я уже был совершенно больной. Дуэли я не боялся, потому что об этом речи быть не могло, но нагромождение всех этих глупостей, этой какой-то страшной неопытности всех нас в этом проклятом пансионате, в этой Рабке, ввергло меня в какую-то жуткую беспомощность, в трагическое уныние. Довольно! Довольно! Я больше не хотел участвовать в этом. Мне было уже все равно... Я не стал посылать своих представителей к судье, что, естественно, скомпрометировало меня в глазах этих благородных господ, но и пансионат я не покинул, провел в нем еще пару недель, спокойный, холодный, самодовольный, безразличный, можно сказать непоколебимый в трагическом желании обособиться. И серьезный.

Вот такие случались у меня скачки от шутовства до серьезности, от дурачества до настоящего страдания. И снова я не мог справиться с этим польским фарсом, с этой нашей

неуравновешенностью. Я носил в себе тот океан, в котором я тонул. Из Рабки я выбрался на короткую экскурсию в Закопане, где, зайдя как-то вечером то ли к «Тшаске» то ли к «Карповичу», увидел в глубине за столиком знакомое лицо – Бой!

Я не был с ним знаком лично, но знал: писатель, ум, талант, Европа... Сам пью чай и присматриваюсь к нему издалека. Может, подойти? Сидит один. Да и вообще, в заведении народу почти нет. Ну, допустим, подойду – что я ему скажу? В конце концов подошел: «Вы пан Желеньский?»

– Да.

– Разрешите присесть?.. На несколько слов... Хотя я и не имею чести...

Бой явно заскучал. Указал мне на стул:

– Прошу.

Я сел и не знаю, что сказать. Наконец выдал:

– Вот видите, я – пассажир, который сидит на стуле; стул стоит на ящике; ящик лежит на мешках; мешки на телеге; телега на пароходе; пароход на воде. Но где почва и что это за почва – неизвестно.

* * *

Бой направил на меня то ли сонный, то ли печальный взгляд и сказал:

– Как и все мы.

Кто-то подошел к столику и на этом все закончилось. Спустя много лет – накануне войны, кажется, в его именины – я напомнил ему об этом нашем разговоре. Он улыбнулся и сказал: «Вот так плывем мы и плывем на этом нашем польском корабле, а твердую почву почувствуем, только когда пойдем на дно!»

* * *

На втором курсе юридического факультета я начал писать новый роман. Новое произведение отличалось в плане концепции от начатого в тиши поточковского леса первого опуса о бухгалтере. Это новое мое приключение с литературой, видимо, соответствовало как моим тогдашним переживаниям, так и общепольскому культурному кризису, так что расскажу об этом поподробнее.

Все началось с того, что с Тадеком Кемпиньским, моим бывшим одноклассником, мы решили написать в четыре руки остросюжетный роман и заработать кучу денег. Мы не сомневались, что таким высоким интеллектуалам, как мы, нетрудно будет склепать легкую и захватывающую чушь. Однако вскоре мы ужаснулись бездарностью наших каракулей и все отправили в корзину.

– Написать плохой роман ничуть не легче, чем написать хороший, – сказал я тогда Кемпиньскому.

И эта проблема вдруг заинтересовала меня. Создать хо-

роший роман для десяти тысяч высших или даже ста тысяч – это обычный путь, так всегда поступают, это банально и скучно. Другое дело написать хороший роман для широкого заурядного читателя, которому по вкусу как раз не то, что мы называем «хорошей литературой».

– Что же такое «хороший роман для масс»? – объяснял я Казику и Зазе Балиньским. – Это вовсе не значит, что он должен быть доступным и занимательным, благородным и культурным, как Сенкевич или как хотя бы Родзевичувна. Роман для масс должен по-настоящему быть «их» романом, он должен быть сделан из того, что на самом деле нравится массам, чем они живут. Он должен ударить в самые низшие инстинкты. Он должен быть выходом для грязных, мутных, примитивных фантазий... Он должен быть сделан из сентиментализмов, страстей, глупостей... Он должен быть темным и низким.

Пожалуйста, не возмущайтесь... Во мне тогда говорило не столько презрение, сколько страх. Я чувствовал себя, как и вся польская интеллигенция, под угрозой примитивизма массы, у нас значительно более темной и опасной, чем в странах с более высокой и, главное, более монолитной культурой. Теперь-то мы знаем, что этот страх был отнюдь не беспочвенным. Но сегодня я склонен допустить, что идея «плохого романа» была кульминационным моментом всей моей литературной карьеры: никогда – ни до ни после – меня не озаряла более творческая идея. Так что же означала эта про-

грамма, которую я тогда не был в состоянии четко сформулировать? Писатель, даже самый отрешенный от мира, всегда пишет для кого-то, хотя бы для придуманного им самим читателя. Естественно, одно дело, когда пишут для культурного читателя или, скажем, для критика, и совсем другое, когда пишут для обычного потребителя бумажной жвачки. Однако до сих пор, даже для малых мира сего писали «с вершин Парнаса»: писатель, хоть и спускался до уровня массы, но лишь настолько, насколько ему позволяла его культура, его литературное воспитание.

В этом смысле мой проект был безумно радикальным: отдался массе, стать хуже, опуститься; не только описывать это несовершенство, эту незрелость, но ею как раз и писать. Словом, это была идея, которую позже я определил как постулат, что в культуре не только высший должен созидать низшего, но и низший высшего.

Те, кто по «Фердыдурке», а еще лучше по «Дневнику» знают эту мою – назовем ее так – теорию формы, которая, впрочем, не ограничивается проблематикой художественного творчества, а охватывает все человечество во всех его проявлениях, лучше поймут смелость и радикальность тогдашних моих намерений. Если бы у нас тогда получилось, то написанная студентом книга, возможно, стала бы исходным пунктом новой, революционной литературы и, как знать, может, даже открыла бы неизвестные пространства для духовной экспансии, реализуя нечто вроде творческого

взаимодействия двух разных фаз развития... Но о чем тут мечтать, как говорил Жецкий в «Кукле»... Не получилось, потому что задача намного превышала мои силы, и я тогда не отдавал себе отчета ни в ее грандиозности, ни в ее опасности. Здесь мимоходом замечу, что лишь десять лет спустя я понял, что это была игра с огнем, что-то очень нездоровое... В чувство меня привела одна встреча...

А дело было так. У меня тогда уже вышла моя первая книга – «Дневник периода созревания», – и в некоторых кругах я слыл автором архисовременным и смелым. Ну так вот, в одно прекрасное утро звонок. Входит молодой человек лет двадцати с небольшим, протягивает рукопись. «Простите мою бесцеремонность, – говорит он, – но я написал роман, а один мой друг, разбирающийся в этом, посоветовал показать вам. Говорит, что вас это заинтересует».

– Почему? – не отпуская меня недоверие, да и внешний вид гостя не вселял особых надежд.

– А потому что, – начинает он и все больше нервничает, – это такой роман... понимаете, густо замешан на эротике. Это я нарочно так придумал... чтобы завести читателя... чтобы люди читали... А то с деньгами швах, третья заповедь, вы понимаете? Да вы только взгляните, – многозначительно добавил он, – эротика что надо!

Взял. Прочитал. Читал с растущим беспокойством, с отвращением, чуть ли не с болью, потому что... ну да... эротика, грязь, безумная грязь, все вымазано грязью, на этих стра-

ницах не было ничего очищающего, но если б только грязно, это к тому же было плохо в смысле работы – дешевка, грязная дешевка. Иногда в литературе встречается описание грязи, но прекрасное, мастерское описание, когда форма спасает содержание. Но здесь само описание было заражено грязью и бездарностью... погодите, погодите, что-то мне вспоминается... ах, так это ж мой давно забытый роман! Меня залила краска стыда... перекосило от воспоминания!

Он оставил свой номер телефона. Я позвонил: «Могу поговорить с паном Х.?» На том конце провода шепотки, наконец мне ответили: «Его нет». И тогда я узнал, что он покончил с собой. Застрелился. Из револьвера. Неделю назад.

Не стану утверждать, что из-за романа. Однако это произведение было выражением того духовного состояния, которое привело его к катастрофе. И тогда я почувствовал, что и я, его коллега по перу, несмотря на практически беззаботную жизнь, десять лет назад был не так далек от аналогичного решения...

Точно, я тогда был очень расстроен... Но расскажем сначала, какова была судьба этого моего шедевра. После нескольких месяцев работа была закончена. Это была отвратительная мешанина разных рефлексий – чувственности, грубости, дешевых эффектов, убогой мифологии – история не менее неряшливая и «возбуждающая», чем романчик этого Икса... Что дальше? Я сгорал от стыда, представляя, что мне придется кому-то это показывать. Но выхода не было:

ведь я писал это «для читателя», так что надо быть последовательным. Тогда я находился в Закопане и подружился с пани Шух, особой интеллигентной и начитанной, которая ценила меня и верила в мои способности.

Возвращая мне рукопись, она отвела взгляд в сторону и сказала тоже как-то в сторону: «Лучше сожгите».

Я сразу пошел в свою комнату, достал из чемодана остальные копии, вывалил всё на снег за пансионатом и поджег.

Зачем я это рассказываю? Почему вспомнил об отчаянии и что это очень по-польски? А вот почему: так называемого культурного человека на Западе от напора массы защищают солидные институты и традиции, иерархии и общественный строй, у нас – нет; у нас интеллект, утонченность, ум, талант беззащитны перед любой низостью, рождающейся на социальном дне из нищеты, из чудачеств, одичалости, извращений и разнузданности, из тупости и грубости. Вот почему наш так называемый интеллигент всегда слегка запуган... Если что и изменилось, так это то, что сегодня насилие низов над верхами лучше организовано...

Случай типа того, который я описал, вряд ли мог произойти с начинающим писателем на Западе.

* * *

Я учился на четвертом курсе, когда Пилсудский ударил армией по существовавшему государственному строю. Пилсудский мне не нравился: может, потому, что был левым, может, среда была консервативной и не доверяла «масону», как о нем тогда говорилось, который к тому же организовывал нападения на инкассаторов во время революции 1905 года! Говорили: «Пилсудский! Так ведь это бандит!» Но я не слишком поддавался этому праведному негодованию дядюшек и тетюшек и, по всей вероятности, не без удовольствия вступил бы с этим взглядом в полемику, если бы не одно обстоятельство, казавшееся мне более важным: та пропаганда вокруг Пилсудского, те высокопарные эпитеты, которые ему клеили, весь тот экзальтированный и вместе с тем примитивный язык его сторонников – вот что меня убивало.

Не забывайте, что во мне еще оставалось немного хорошего политического воспитания, которое отличало уходящий век. Люди в те времена выражали свое мнение сдержаннее и серьезнее, слишком грубая ложь, высокопарность, экзальтация, сервильность были тогда не комильфо, не как сегодня, когда и ор уже не удивляет. Впрочем, обожание пилсудчиками Пилсудского было детской забавой по сравнению с более поздними каждениями фимиама перед алтарями Гитлера, Муссолини или Сталина. Пилсудчики были прежде всего солдатами, по-настоящему любившими своего «Деда», но зачастую и романтиками, пропитанными нездоровыми испарениями польской традиции и польского искусства. И имен-

но с этим мне было труднее всего примириться. Романтизм. Пилсудский тоже был романтиком, декламировавшим наизусть Словацкого, говорившего о себе «я, призванный в годину испытаний» – типичный представитель кресового мистицизма, который мне всегда казался и опасным и подозрительным.

Но что меня больше всего убивало, уже в более поздние годы, так это отношение самого Пилсудского к собственному величию. Как известно, классик находит выражение в воле властвовать, быть наверху, классик старается быть господином и владыкой, а романтик подчиняется, сносит, страдает, он жертва мира, который выше него... Так вот, Маршал, бесцеремонно и властно относившийся к полякам, был тем не менее придавлен Польшей в историческом измерении, но еще больше – своей миссией; она ему импонировала, он стоял на коленях перед тем Пилсудским-вождем, которого он пестовал в себе. Замечательный реализм Деда, который он, в соответствии с каким-нибудь кресовым рецептом, мирил в себе с этой перепахавшей его поэзией, не представлялся мне достаточной гарантией. И уже среди его почитателей все это перерождалось порой в туман, напрочь лишавший их ясности видения.

Вот так все и продолжалось, пока не наступил майский день, когда заговорили пушки. Мы тогда жили на Служевской, и с балкона я видел военные действия в здании министерства военных дел, находившегося на тогдашней Ново-

вейской: дело ограничилось несколькими выстрелами, но в окнах министерства были видны осторожно передвигающиеся вооруженные люди. Как я позже узнал, во главе пилсудчиков, захвативших министерство, стоял Славой-Складковский. На улицах стрельба, а в Уяздовских аллеях, в нескольких сотнях метров, шел настоящий бой со Школой подхорунжих, которая не желала подчиниться.

Как всегда бывает в исторические моменты, здесь тоже никто ничего не знал, понятия не имел. История обращается с людьми не просто жестоко, но еще и смеется над ними. В конце концов, буря утихла и можно было выйти на улицы, полные народа, еще не отошедшего от страха.

Первым делом я направился к своему дядюшке, Владиславу Солтану, который был варшавским воеводой и жил неподалеку, в Аллеях. Думал узнать что-нибудь, но так ничего и не узнал, кроме тех слов, уж и не вспомню, то ли сам Солтан, то ли его жена сказала, но которые я потом много раз вспоминал: «Начинается Большая импровизация».

Но даже и это майское потрясение, от которого содрогнулось государство, не смогло вытолкнуть меня из моего уединения. Я, как и прежде, не мог (и эта немощь была сильнее меня) жить жизнью польского общества – ни политической, ни культурной. Смотрел на все как бы со стороны, иногда с интересом, иногда даже со страстью, но принять участие? Нет, нет и нет. Почему? Я был еще слишком молод, чтобы ясно понимать, почему я так делаю, но кое-что уже

знал. Несколько лет спустя это еще четче предстало передо мной, когда на охоте в Поточке я случайно встретился с одним из важных полковников, который тогда был министром и считался главным интеллектуалом режима.

Он очень любезно выпил за мое здоровье и, взяв под руку, спросил: «Я знаю, что у вас есть склонность к литературе и что вы человек умный. Почему вы держитесь в сторонке?»

Я был после нескольких рюмок, склонивших меня к откровенности, гораздо большей, чем я мог бы себе позволить в абсолютно трезвом состоянии. Держа в одной руке тарелочку с бутербродом, а в другой рюмку, я горделиво заявил:

– Потому что ни во что это не верю.

Он посмотрел на меня с удивлением.

– В кого вы не верите? В Маршала?

Я ответил: «В Маршала, разумеется, верю... Только что он может сделать в той ситуации, в которой находится?»

– Что вы хотите этим сказать? Ситуация? Какая ситуация? Ситуация вовсе не так плоха. Нам ничто не угрожает.

– Совсем напротив, – заметил я, – ситуация фатальна, настолько безвыходна, что если бы вдруг Маршал стал Бисмарком и Талейраном в одном лице, он ничего не смог бы сделать в этой ситуации. Все псу под хвост, понимаете?

Чиновник переключился на разговоры с другими людьми. Означало ли это, что на меня снизошел пророческий дух и я уже тогда знал о надвигающейся катастрофе? Ничуть! Зато у меня было ощущение, что «что-то не в порядке» и что ото

всего этого пахнет вроде как пошлостью... затыканием дыр... Я не мог убедиться в солидности этой работы, хотя послемайская Польша во многих отношениях была явлением симпатичным и обещающим. Государство консолидировалось, уходили в небытие анахронизмы, наш старый довоенный шляхетский порядок постепенно перерождался в порядок демократический, а трудящийся класс приобретал все большее значение. Требовать, чтобы недавно родившееся на трупах трех империй государство стало в одночасье образцом современной социальной организации, мог только свалившийся с Луны.

Я не был слеп и видел, что мы, несмотря ни на что, идем вперед. Разве что... все было пока еще таким слабым! Слабость была в основе, нельзя было предпринять ничего серьезного, все было обречено быть временным, осторожным, лишь бы дыры залатать, лишь бы перекантоваться, никакая смелая, радикальная инициатива в тех условиях не смогла бы продержаться, а люди выдающиеся, как Пилсудский, были обречены на безликость.

Однажды в Островце у меня состоялся разговор с зерно-торговцем, сын которого был поэтом.

– Почему Шлёма не подключился к делу с Зейдебойтлем?

– Ой, пане-барич, лично я, может, и подключился бы, но тот гешефт слишком медленный, не дает возможности молодому человеку расправить крылья комбинации.

Вот и у меня была та же причина: я сторонился польской

политической, общественной, культурной жизни, которая не давала возможности расправить крылья; в ней был зародыш катастрофы, которая ставила крест на наших возможностях развития и обрекала нас на прозябание.

Что это было с моей стороны? Эгоизм? Черствость? Впрочем, может, тогда я был еще слишком молод, чтобы меня судить так строго. Потом во мне многое изменилось.

* * *

Я закончил юридический факультет. На последнем экзамене по гражданскому праву произошел удивительный случай, который можно сравнить лишь с выигрышем главного приза в лотерее. После нескольких вопросов, которые я худо-бедно одолел, профессор попросил меня найти какую-то статью в Кодексе. Я этот Кодекс в глаза не видел, понятия не имел, где искать эту статью – в начале или в конце – и наобум открыл с конца. И что же вы думаете? Как раз на той самой странице, где была эта статья, а книга толстенная, странички тоненькие. Профессор: «Вижу, Кодекс вы знаете хорошо». Я: «Боже!»

Учеба закончилась, чем заняться дальше? Я ни за что не хотел становиться ни адвокатом, ни судьей. Юриспруденция уже выходила мне боком, особенно когда ее дотошность

сталкивалась с жизнью и наступала *qui pro quo*⁶. По идее, все должно подчиняться логике, а на практике преступников определяли на скорую руку, лишь бы поскорее закрыть дело. Я возненавидел это претенциозное знание, столь легко разоблачаемое жизнью, сидящей на скамье подсудимых.

Уже тогда я потихоньку начал пописывать рассказы и голову мою занимали совсем другие дела. Впрочем, уже тогда в семье было решено, что я поеду в Париж продолжать обучение. Я был не против. Тем более что обучение давало мне право на отсрочку от призыва в армию, которого я жутко боялся.

Вот так в одну из ночей я отправился в паломничество к сердцу Европы, я, по всем приметам сельский житель, неотесанный студент, провинциал, но в глубине души тесно связанный с Европой. Поездка через Германию, Бельгию, две ночи и один день, не слишком меня утомила, поскольку на ломаном немецком я кадрил симпатичную Гретхен, подсевшую в Берлине и вышедшую в Брюсселе.

В конце концов я оказался утром в Париже на Северном вокзале, воспрянул духом, когда из окна такси увидел Триумфальную арку – настолько знакомой она уже давно была. Приехал в маленькую гостиничку на площади Звезды и рухнул на кровать. Черт с ним, с Парижем, спать хочется. Только вечером я вышел из гостиницы и пошел прогуляться по улицам.

⁶ *Qui pro quo* – неразбериха, путаница (лат.).

Если описать мое пребывание в Париже в двух словах, то это было главным образом хождение по улицам. Даже не фланирование, а тупое хождение. Думаю, что мало найдется таких, кто видел в Париже меньше, чем я... Потому что я ничего не посещал и ничто меня не интересовало.

В этом городе у меня было две опорные точки: мой кузен Бебусь Россет, офицер 1-го уланского полка, который немного рисовал, немного крутился в богеме, и Янек Балиньский, сын сенатора, брат моих друзей Казика и Зазы, тоже мой знакомый. Вот и пошел я навестить его. Он жил на авеню Ваграм у какого-то известного профессора, из тех, что крутились вокруг Лиги Наций, а сам занимался организацией международного сотрудничества, будучи то ли председателем, то ли просто делегатом польских молодежных организаций. Горячий поклонник Запада вообще и Франции в частности, Балиньский стремился втянуть меня в эти свои увлечения, но остыл, увидев, что от меня никакого толку... Такой же облом был и у Россета. Он принял меня в романтической мансарде, из которой открывался вид на башни и крыши; как сейчас помню, когда я вошел с лестницы в коридор, он наливал воду из-под крана в чайник.

– А, это ты, – сказал он, – ну что ж, надо будет что-нибудь с тобой сделать. Ты вроде как что-то там пишешь? Хочешь стать «*pissage polonais*»? (предпочитаю этот анекдотец не переводить на польский). Ну, тогда я познакомлю тебя с моими друзьями.

Но и из этого тоже ничего не получилось. Он устроил прием, на который пришли несколько живописцев, к чьему ремеслу я никогда не испытывал восторга, и еще несколько литераторов, скажем прямо, так себе. Они присматривались ко мне, воротили нос и были правы: оказавшись лицом к лицу с богемой, я стал еще более скованным, напряженным, флегматичным и буржуазным, воистину маменькин сынок! Видимо, свою роковую роль сыграла моя ненависть к шаблону: эта парижскость с развевающимися волосами и без галстука была слишком банальной и как раз в Париже невыносимой; но сказала свое слово и гордость: я не хотел принимать художественного беспорядка *avant la lettre*⁷, до того как я осуществлюсь как художник. Я до сих пор люблю держаться с художниками как буржуй, а с буржуями – как художник, чтобы вывести их из себя. Мало того что устроенный мне экзамен я провалил, так еще когда на предложение Бебуса перебраться из моего престижного района к нему на квартиру я ответил отказом, обескураженный Бебусь бросил меня одного на произвол судьбы.

Бебусь. Война вырвала его из нормальной жизни, но человеком он был необычайно смелым, с богатым и бурным внутренним миром. Его смерть была странной и внезапной, даже какой-то демонстративной. Он безответно влюбился в одну женщину и назначил ей свидание в кафе де ль’Опера для объяснения в любви. Они сели за столик. Женщина от-

⁷ Avant la lettre – здесь: заранее, авансом (фр.).

ветила отказом. Недолго думая, он достал револьвер и в переполненном кафе выстрелил себе в голову.

Если не ошибаюсь, с ним связана еще одна история, заставляющая волосы стать дыбом. Он тогда пребывал в должности военного атташе при нашем посольстве в Анкаре. Ну так вот, во время одного спиритического сеанса, в котором он принимал участие, рюмка стала выстукивать по-русски: «Приду к тебе сегодня ночью». Он принял это на свой счет, потому что никто из присутствующих, кроме него, не знал по-русски и не имел контакта с русскими; он же во время боев с большевиками в 1920 году многих лишил жизни. Возвращается домой, ложится в постель, просыпается ночью и чувствует, что кто-то лежит рядом с ним. Дотрагивается до тела, а оно холодное как лед, холодное, как труп. Вскочил с постели и выбежал на улицу.

Однако вернусь к моим парижским приключениям.

В Институте международных отношений, куда я записался, было много интересной молодежи со всех концов света. Однако я редко появлялся в этом замечательном институте, поскольку учение мне донельзя надоело. Что делать? Осматривать Париж? Для меня было невыносимо стоять, задрать голову, перед соборами, ходить по музеям. Зашел я как-то раз в Лувр, взглянул на несколько картин и на одну скульптуру, и свободно смог вздохнуть только когда снова оказался на улице, под солнцем, подальше от этой мертвой тишины

и этого запаха. Так что же делать? Стал ходить по улицам, не по каким-то там специальным улицам и не затем, чтобы пропитаться парижской атмосферой, а ходил так, как ходит человек, которому нечего делать, и лишь при таком хождении время от времени что-то попадало в поле моего зрения: голос, улыбка, жест, перспектива улицы, вывеска. Но настал день, когда я познакомился с одним китайцем.

Тогда у меня было туго с деньгами, и я зашел на ужин в довольно заурядный ресторанчик на Бульмише. В ожидании заказанного бифштекса я выстукивал пальцами по столешнице что-то из третьего Бранденбургского концерта Баха и неожиданно заметил, что за соседним столиком сидит какой-то азиат и точно так же мучается, но с первым Бранденбургским концертом. И тогда мы многозначительно взглянули друг на друга.

– Вы любите музыку?

Китайца звали Шу, хотя если полностью, то подлиннее. Он изучал философию и литературу в Сорбонне, а до того в течение года учился у Алена. У его родителей, очень богатых, как он говорил, были плантации и фабрики, но он смертельно рассорился с ними и не собирался возвращаться в Китай. После ужина мы пошли на длительную прогулку, и это осталось в памяти: вижу, как идем мы по скользкому асфальту площади Конкорд, под дождем, и разговариваем, разговариваем, разговариваем... Начинался один из самых важных диалогов моей жизни.

4. VII.60

Вы уже знаете, что когда я был на учебе в Париже, в 1928 году, я никуда не ходил, ничем не интересовался, и что все мое пребывание было бесцельным топтанием парижских мостовых. Лишь бы убить время. Когда я вспоминаю об этом здесь, то аргентинцы, которые годами грошик к грошику собирают на паломничество в *Ville Lumière*⁸, скрежещут зубами.

Впрочем, это мое равнодушие к Парижу – только внешняя сторона. В глубине души это была непримиримая война, и мое столкновение с Парижем закончилось взрывом, странное дело, из-за азиата, того самого китайца Шу, с которым я случайно познакомился в студенческом ресторанчике на Бульмише, когда мы оба возвращались с концерта Баха. Так вот, этот самый Шу, которого все ласково называли *mon chouх*⁹, завел меня в одно кафе неподалеку от Пантеона и познакомил со своими друзьями. И почему я не запомнил их фамилии? Ведь наверняка не один из них выбился в люди. То была нервная, живая, резкая, находящая прекрас-

⁸ *Ville Lumière* – город света (фр.). Это образное название получил Париж в эпоху Просвещения. *Примеч. пер.*

⁹ *Mon chouх* – здесь: дорогуша, милоч (фр.).

ные формулировки молодежь, большинство – французы, но были и итальянцы, румыны, испанцы и – куда же без них – американки и еще какие-то экзотические нации.

Даже несколько священников было, подозреваю, что скорее ради приятного разговора, чем для борьбы с неверующими.

Я держался в высшей степени сдержанно. Инстинкт мне подсказывал не высовываться; я был доволен, когда меня принимали за англичанина. Но в тот вечер между мной и ними состоялась такая стычка:

– Вам нравится Париж?

– Так себе. Правда, я толком ничего не видел.

– Что так?

– Не люблю задирать голову перед зданиями и вообще мне скучно осматривать достопримечательности, меня это угнетает.

Какое-то время спустя мы вернулись к теме.

– Стало быть, Париж не снискал вашей любви?

– Ну да... так себе... не особо...

– А что? Разве вам не нравится вид, который открывается с площади Конкорд?

Мне пришел в голову стишок Боя «Сегодня человек хорошего тона стыдится своего салона» и перевел его на французский. Понятно, я с должным уважением отнесся ко всем этим готикам и ренессансам. Жаль только, что народ не был на высоте, *à sa hauteur*... Честно говоря, парижане скорее

некрасивы и лишены шарма и...

И тут на меня накричали:

– Парижане лишены шарма?

– Ну да, – ответил я. – К сожалению, это так! Они слишком уверены, что полны шарма и что *Paris* очаровывает. Но как, однако, назойлив весь этот французский *esprit*! Я ничуть не поклонник парижского вкуса. Эти дамские туалеты не возбуждают меня, они претенциозны, чрезмерно стилизованы, а дамы слишком по-журнальному накрашены... Парижу не хватает чистоты и свежести. И все это ваше искусство какое-то глупое. И весь этот ваш *amour*, эта парижская любовь – какое-то буржуазно-бельевое мероприятие, от которого тошнит! Короче, тошнотворный город!

Эта диатриба была воспринята присутствующими со смехом. Они маниакально любили спорить, но в основном тонули в философических хитросплетениях Бергсона или в анархизме. А тут случились и тема горячая, и противник, с которым можно поиграть. В таком обществе всегда найдется дока по так называемому «мопсованию», то есть деланию из собеседника дурака, вот так попал я в лапы одного типа, который выглядел как молодой Дон Кихот, правда, в миниатюре.

– Mais, quand même! Mais c'est épatant! (Однако! Потрясающе!)

Положение такое, что не позавидуешь: один против банды насмешников, абсолютно уверенных в себе и издевающихся вовсю, и я один с моими провинциальными взглядами, к то-

му же с моим французским, который, хоть и был довольно сносным, но я не поспевал за их гибкой и быстрой речью. Я понял, что должен быть интеллигентным, что не могу позволить себе ни капли неинтеллигентности, что интеллигентность должна выражаться не только в содержании моих слов, но и в самом стиле их подачи, в слушании, во взгляде... Настало время испытать исподволь заявлявшее о своем присутствии во мне польское благоразумие!

И тогда вместо того, чтобы полемизировать со всеми, я обратился только к коренным парижанам, игнорируя иностранцев, и выразил удивление, как они сносят атмосферу глупости и снобизма, возникающую вокруг Парижа: «Я на вашем месте с ума бы сошел! Как можно выдержать это идиотское поклонение с разинутым ртом, с задранным носом, эти донельзя затасканные словесные штампы, этот снобизм, постоянно подпитываемые прибывающими туристами, это прекрасодушие худшего пошиба?!»

Мой маневр оказался весьма удачным. Студенты-иностранцы бурно запротестовали, что еще больше сблизило меня с французами – и минуту спустя я уже основательно укоренился в их группе, сражаясь против разошедшихся вовсю румын и турок. Все продолжалось недолго, но позволило мне установить с ними взаимопонимание. Однако постепенно эта игра становилась все серьезнее, и потом мы приходили в это кафе уже как на поле боя, чтобы вступить в многодневное сражение, конца которому не было видно.

Для меня это имело огромное значение. Как поляк, как представитель более слабой культуры я был вынужден защищать свой суверенитет: я не мог позволить Парижу победить! Наши баталии помогли мне обнаружить то, что мешало мне до сих пор наслаждаться Парижем, пользоваться Парижем – необходимость быть гордым и независимым, поддерживать достоинство; опасаться стать учеником, эпигоном, прислужником, ротозеем, зрителем. Я придаю огромное значение этим жарким дискуссиям в маленькой кафешке на Бульмише, за столиком в углу: там и тогда я схватил быка за рога, против которого мне потом не раз приходилось бороться, быка западного превосходства.

Вижу все, как будто только вчера это было: кожаный диванчик у стены, на котором сидят какие-то, похоже, приказчики, смеются над нами и вмешиваются в нашу беседу, за соседним столиком сидит и тоже иногда подключается к нашему разговору *abbé* Барселос, каталонец, священник, поэт, а мы вшестером или всемером с китайцем *mon chouix* бурно дискутируем, порой срываясь в крик. В доме напротив кондитерская, откуда один из наших ребят, имевший там какие-то связи и особое отношение к себе, приносил шоколадки, которые мы незаметно съедали, так, чтобы этого не заметил мсье Винсент, стоявший за стойкой бара.

Диалектика – мать открытий. Тогда я открыл истинный метод полемики с Парижем... который был и остается крайне необходимым не только мне... Прислушайтесь к моему

недавнему разговору в аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро со студентами из ближайшего университета в Тукумане.

– Европа угнетает нас культурой! – сетовали студенты – Не дает нам жить! Мы не хотим подражать Европе! Но мы не можем взбунтоваться, потому что мы незрелые, несовершенные. А если не взбунтуемся, никогда не достигнем зрелости, совершенства. Порочный круг!

– Вовсе нет, – ответил я, – есть один способ, очень простой, только Америка до сих пор не нашла его.

– Какой же?

– Ничего проще. Культура нужна вовсе не для того, чтобы почувствовать себя на равных, например, с Парижем. Просто, если вы не можете заявить о себе как о зрелых по парижским меркам, то попытайтесь показать, что Париж незрелый по вашим! Сейчас я покажу вам, что ничего парадоксального в этом нет. Как вам кажется, где люди говорят больше глупостей? В Париже или в Сантьяго?

– Два что тут сомневаться, наверное, в Сантьяго.

– Неужели? А вот мне кажется, что как раз наоборот. Потому что в Сантьяго говорят о конкретных вещах, об урожае, о поведении соседской дочки, о вещах, которые всем прекрасно известны, а в Париже говорят про экзистенциализм, про музыку Шёнберга или о физических теориях, которые перерастают возможности понимания благопристойных парижских буржуа. Иначе говоря, в Париже больше культуры,

чем в Сантьяго, но именно... [*в машинописном варианте рукописи отсутствует строка*¹⁰].

* * *

Мои соотечественники в Париже мне нравятся всё меньше. Время от времени, скорее изредка, мне приходилось встречаться с ними: горстка студентов, несколько наполовину офранцузенных польских семей. Пару раз я заглядывал в посольство и получил от своих посещений урок на всю жизнь: от посольских устриц надо бежать, чтобы избежать смертной тоски и занудного промывания мозгов.

Приходилось бывать и на торжествах парижской колонии: уходил рассерженный, в бешенстве, злой, мстительно злобный... это было значительно хуже, чем можно было ожидать, хуже, чем все то, что убивало меня на родине... эти танцы-краковяки, эти Костюшки, эти Коперники, эти сантименты, эти речи... это жуткое сотрясение Европы нашими «культурными заслугами»!

Я, естественно, не утверждаю, что у нас их нет, равно как и то, что их не следует демонстрировать, но меня бесит тот способ, та манера, в которой это делается, свидетельствующая как раз о нашем жутком комплексе неполноценности и

¹⁰ Такое иногда встречается в представленном тексте, причина – плохо проложенная копирка, загнутый край листа и т. п. Напомним: у Гомбровича были вторые экземпляры, первые он отослал в редакцию радио. *Примеч. пер.*

об отсутствии достоинства, более того – об отсутствии чувства юмора.

Вот уже семь лет я записываю в свой писательский дневник все, что меня задело или взволновало. Так вот, полемизируя в свое время с Лехонем, я излил на бумагу всю желчь, которая накопилась во мне как реакция на эту польскую манию саморекламирования, с которой я впервые столкнулся в Париже. Ну а коль скоро мой «Дневник» в Польше запрещен, позволю себе процитировать несколько отрывков, крепко связанных с описываемым опытом. Послушайте.

Как-то случилось мне участвовать в одном из тех собраний, посвященных взаимному польскому подбадриванию и поднятию духа... где, отпев «Присягу»¹¹ и отплясав краковяк, приступили к слушанию докладчика, который славил народ, ибо «мы дали Шопена», потому что «у нас есть Кюри-Склодовская» и Вавель, а также – Словацкий, Мицкевич, и, кроме того, мы были оплотом христианства, а Конституция Третьего Мая¹² была очень передовой... Докладчик объяснял себе и собравшимся, что мы – великий народ, но это, возможно, уже не возбуждало энтузиазма у слушателей (которым был известен этот ритуал – они принимали в нем уча-

¹¹ «Присяга» (1908) – патриотическая песня на слова Марии Конопницкой (1842–1910).

¹² Конституция Третьего Мая – первое в Европе современное законодательное установление, принятое на Четырехлетнем сейме в 1791 г.

стие как в богослужении, от которого не приходится ждать сюрпризов), но, тем не менее, было принято со своего рода удовлетворением, поскольку тем самым был отдан патриотический долг.

Я же ощущал этот обряд как адское наваждение, это национальное богослужение становилось чем-то сатанински-издевательским и злобно-гротескным. Поскольку, возвеличивая Мицкевича, они принижали себя, восхваляя Шопена, показывали как раз то, что не доросли до Шопена, а предаваясь любованию собственной культурой, обнажали свой примитивизм.

Гении! К черту всех этих гениев! Меня так и подмывало сказать собравшимся: – Какое мне дело до Мицкевича? Вы для меня важнее Мицкевича. И ни я, ни кто другой не будет судить о польском народе по Мицкевичу или Шопену, а по тому, что делается и о чем говорится здесь, в этом зале. Даже если бы вы оказались столь бедными на величие, что самым большим вашим художником был бы Тетмайер или Конопницкая, но если бы вы могли говорить о них со свободой людей духовно свободных, с умеренностью и трезвостью людей зрелых, если бы слова ваши охватывали горизонт не захоlustья, а мира... тогда бы даже Тетмайер стал бы вам поводом для славы. Но дела обстоят так, что Шопен с Мицкевичем служат вам только для подчеркивания вашей незначительности, потому что вы с детской наивностью трясете перед носом уставшей от вас заграницы этими полоне-

зами лишь затем, чтобы поддержать подпорченное чувство собственного достоинства и добавить себе значимости. Вы как тот бедняк, который хвалится, что у его бабки был фольварк и что она бывала в Париже. Вы – всемирные бедные родственники, пытающиеся понравиться себе и другим¹³.

Да, да... приведенный выше отрывок из дневника пропитан горечью моих контактов с поляками за границей, еще с тех, парижских, времен. Уже тогда я чувствовал то, что много лет спустя выразил в том же дневнике так:

Впрочем, собрание знало о том, что это глупо – глупо, потому что касается вопросов, которых ни мыслью, ни чувством не охватить, – и отсюда этот их пиетет, поспешная покорность перед фразой, восхищение Искусством, условный и заученный язык, отсутствие честности и искренности. Здесь декламировали. Но собрание было отмечено скованностью, искусственностью и фальшью еще и потому, что в нем принимала участие Польша, а по отношению к Польше поляк не знает, как себя вести, она его смущает и отнимает естественность, вгоняет в робость до такой степени, что у него ничего не «выходит» как надо, ввергает его в судорожное состояние – а он слишком хочет Ей помочь, слишком желает Ее возвысить. Заметьте, что по отношению к Богу (в костеле) поляки ведут себя нормально и правильно, а по отношению к Польше – теряются; это то, к чему они еще не

¹³ Здесь и далее цит. по: *Гомбрович В. Дневник*. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха. 2022. С. 23 (далее страницы этого издания указаны в тексте).

привыкли (с. 24).

Мне кажется, нетрудно понять, о чем речь в этом и в предыдущем отрывках: лишь о том, чтобы поляки любили Польшу не так наивно, не так провинциально, чтобы их любовь не выпячивала так пожирающий их за границей комплекс неполноценности. Словом, речь о достоинстве и даже, выражаясь по-сенкевичевски, о чести поляка в его конфронтации с миром. Только господин премьер-министр Циранкевич не так это понял, и в своей речи, произнесенной в честь открытия года Коперника, раскритиковал меня за то, что я принижаю Коперника... Дульчизна! Ты, бессмертная Эгерия в Польше, даже до марксистов добралась!

Вернемся, однако, в мой Париж 1928 года. Однажды китаец Шу спросил меня, не составлю ли я ему компанию в его визите к одному профессору, у которого собирается интернациональное общество. «Только предупреждаю, – добавил он, – что там будут и поляки».

– Ну так что с того?

– А не будет это раздражать тебя?

– С какой стати?

– Увидишь.

Ну и увидел... Раздражало? Еще как! Иностранцев было человек десять, каждый из которых вел себя так как Бог на душу положил... и была польская пара (молодожены), которые... Впрочем, тридцать лет спустя я так писал об этом в дневнике:

Вспоминаю чай в одном заграничном (в «Дневнике»: аргентинском. — Ю. Ч.) доме, где мой знакомый поляк начал говорить о Польше — и снова, само собой, в разговор вплелся Мицкевич, Костюшко, вместе с королем Собеским и битвой под Веной. Иностранцы вежливо слушали жаркие доводы и принимали к сведению, что «Ницше и Достоевский имели польские корни», что «у нас две Нобелевские премии по литературе». Я подумал: если бы кто-то подобным образом стал хвалить сам себя или свою семью, это было бы в высшей степени бестактно. Я подумал, что это соперничество по части гениев и героев с другими народами, аукцион заслуг и культурных достижений, весьма неудобен с точки зрения пропагандистской тактики, поскольку мы с нашим полуфранцузским Шопеном и не вполне исконно-польским Коперником не можем противостоять итальянской, немецкой, английской, русской конкуренции, стало быть, эта точка зрения обрекает нас как раз на второсортность. Иностранцы, однако, продолжали терпеливо слушать, как слушают тех, кто претендует на аристократизм, кто ежеминутно вспоминает, что его прадед был ливским кастеляном. И выслушивали они это с тем большей скукой, что это их абсолютно не касалось, поскольку сами они, как народ молодой и, к счастью, лишенный гениев, в этом конкурсе не участвовали. Но слушали снисходительно и даже с симпатией, поскольку в конце концов проникались ситуацией *du pauvre polonais* (в «Дневнике»: *del pobro polaco*. — Ю. Ч.), а он, зайдясь в своей

роли, все не умолкал...» (с. 24).

Это описание точно передает мои мучения во время того вечера с Шу: так уже тогда во мне росло сопротивление нашей назойливой и неутомимой «пропаганде» и патриотическим наклонностям, призывающим к постоянному «прославлению» Польши за границей. Но тогда, в те парижские годы, у меня еще не было четкой позиции в отношении народа; я смог ее выработать лишь после войны, когда приступил к написанию «Транс-Атлантика». Тем не менее Париж 1928 года многое сделал для формирования моего отношения к народу. Тогда я посмотрел на <польскую> нацию со стороны, из-за границы. И это было очень полезным.

* * *

Однажды дождь заставил меня свернуть с какой-то парижской улицы («какой-то» потому что меня не интересовали названия улиц) и укрыться под сводами храма.

К моему удивлению, я увидел внутри что-то вроде колодца, на дне которого стоял катафалк. Когда дождь кончился, я вышел на улицу.

Много лет спустя я узнал, что это была могила Наполеона. Согласитесь, что для будущего художника и так называемого «интеллектуала» это было демонстрацией приличной и даже скандальной порции невежества. С Лувром дела обстояли еще хуже. Один из моих новых знакомцев, Жюль,

отличался в высшей степени рафинированной артистической культурой. Юноша пописывал стихи и вращался в литературных кругах, хорошо знал Жида и даже ездил к нему в Кювервилль, неизвестно, что стало причиной такой чести: католицизм, литературный талант или персиковая кожа, ибо Жид тоже был натурой сколь всесторонней, столь же и неожиданной. Случалось, Жюль приводил в нашу кафешку литераторов, в частности Дю Бо и Валери Лярбо. Но Жида лично мы не знали и потому не могли отдать себе отчет, до какой степени наш Жюль стал одним из произведений этого писателя: все в нашем друге: образ жизни, взгляды, увлечения, язык – все было от Андре Жида. Мы были убеждены, что он блистает перед нами собственным светом, а не отраженным, и пребывали под впечатлением его гения.

Вскоре я стал главным предметом его забот. Он не мог вынести моего равнодушия к искусству, мысли, культуре; как и Жид, он пылал горячим энтузиазмом к вопросам духа, не пропустил ни одного значимого концерта, ни одной важной выставки. Во мне он чувствовал будущего художника, и именно это его раздражало: он требовал, чтобы я участвовал во всем этом идолопоклонничестве, не мирился с мыслью, что поэзия, живопись, музыка могли мне не понравиться, настаивал на том, что должны-таки мне понравиться! Обвинял меня в фальши, манерничанье, позерстве.

Однажды мы сходили в цирк, где нас очень забавило шутовство двух клоунов.

– Что же ты не приведешь сюда Жида хоть немного отдохнуть от своих шедевров? – спросил я.

– Даже очень хотел, – ответил Жюль, – да только вдруг он расплатится...

– Что?! Ну, разве что только со смеху.

– Нет. Он всегда плачет, когда ему что-нибудь очень нравится. Готов залиться слезами на самой лучшей комедии, и как раз потому что она хорошая и смешная.

Это показалось мне гротескным, и я начал издеваться над Жидом, впрочем, не впервые. Жюль обиделся. Потом дело дошло до обмена резкостями между нами и наконец до серьезного разговора, в ходе которого он мне объяснил, как сильно оскорбляет его мое искусственное – как он выразился – неприятие искусства и то, что он назвал моей манией маскировки. Эти переживания Жюля были мне и смешны и умилительны: все это было каким-то очень французским, парижским, лишенным скромности и сдержанности, чего требовал мой северный темперамент. В качестве извинения я согласился сходить с ним в Лувр, где пока не был.

Сходили. Поход оказался драматичным.

В то время я на самом деле очень неприязненно относился к искусству. Я был полон Шопенгауэром с его антиномией жизнь – созерцание, да и Манном, у которого этот контраст выступает еще резче. Искусство казалось мне продуктом болезни, слабости, декаданса, художники мне не нравились, если можно так сказать «в личном плане», я предпочитал мир

действия и людей действия. В моем возрасте — двадцати с небольшим, когда человек еще не отказывается от красоты, — эти фобии стали страстями. Артистический мир манил меня своей свободой и блеском, но отталкивал морально и физически.

А потому та экскурсия в Лувр вовсе не была такой уж невинной. Лестницы. Статуи. Залы. Как только мы переступили порог храма, с нами стало происходить что-то странное, хоть с каждым по-своему: Жюль вдруг стал благоговейным, приподнялся на цыпочки, будто от внезапно обострившейся впечатлительности у него выросли крылья, подходил к картинам и скульптурам сосредоточенно, так, что было видно, как он переживает; именно это и взбесило меня, поскольку я заподозрил, что все его переживания были специально направлены на меня, чтобы втянуть меня в свое священнодействие. Однако чем больше он экзальтировал, тем флегматичнее и апатичнее я становился. С абсолютно деревенской рожей я обводил взглядом залы, заполненные бесконечной монотонностью произведений искусства, вдыхал этот музейный запах, доводящий до головной боли, а взгляд мой летал от картины к картине, сочетая в себе скуку и пренебрежение, рождаемые пресыщением. Слишком много было всего этого: количество шедевров убивало их качество. А кроме того, однообразным было их размещение... на стенах. Ну, я и зевнул.

Жюля чуть не перекосило от истерики и ненависти.

– Надоело, – сказал я. – Хватит. Пошли уже.

Мы вышли на божий свет; какая прелесть: солнце, женщины! Он яростно наскочил на меня, он на самом деле был вне себя. Опускаю начавшуюся перебранку, но приведу один важный для меня фрагмент нашего диалога.

– Какие у тебя ко мне претензии? – спросил я его. – Думаю, ты понимаешь, что я вовсе не на картины смотрел, а на нечто иное.

– На что же?

– На людей. Ты смотришь на картины, а я на людей, которые смотрят на картины. У этих посетителей глупые рожи – понимаешь? У человека, который смотрит на картину, глупое лицо. Факт!

– Почему?!

Его вопрос застал меня врасплох: я не знал почему. Но мною, тем не менее, овладела сладкая уверенность, что мое утверждение было правильным и даже в определенной степени важным: в этом восторженном созерцании наверняка было что-то глупое, и я ограничился таким ответом:

– Почему, почему? Не бойся, я подумаю и решу почему. А как только придумаю, сразу позвоню тебе.

Бедняга! До сих пор ждет, что я ему позвоню и объясню. Много воды утекло, пока я смог дать хоть какое-то более или менее солидное обоснование для этой моей войны с пластическими искусствами, начатой тогда в Париже, перед Лувром. Только после войны в Аргентине во мне начало форми-

роваться враждебное отношение к живописи. А первое мое публичное выступление на эту тему, статья в аргентинском журнале *La Nación*, кажется, году в 1943-м, называлась «Наше лицо и лицо Джоконды» и восходила к моему парижскому опыту.

«Лицо Джоконды, какое же оно прекрасное! – писал я в той статье. – Только что нам с того? Прекрасное только делает ужасными лица своих почитателей. На картине – прекрасное, а перед картиной – снобизм, глупость, тупые усилия хоть что-то урвать у этой красоты, о которой человеку предварительно сообщили, что она там есть».

Сегодня я вижу, до какой степени эти мои реакции были польскими, польско-шляхетскими, польско-деревенскими, польскими до мозга костей. Эта моя неизлечимая польскость, которая достает меня на каждом шагу за границей, просто смешит: в таком человеке, как я, вроде как «свободном» от всех уз. У меня в крови польская недоверчивость к искусству, особенно к изобразительному.

Когда-то в том кафе, куда мы сходились на дискуссии, мне заткнули рот:

– Поляки тоже любят картины! Вот только должны привозить их из-за границы. У вас нет своей живописи, и художников тоже нет. А даже если есть, что толку? Вы не сподобились на то, чтобы разобраться в них и проникнуться к ним уважением.

Я ответил так: «У нас есть поговорка: не нос для табакер-

ки, а табакерка для носа. А стало быть, не человек для живописи, а живопись для человека. К живописи надо относиться свысока, а не падать перед картиной на колени!»

Не знал я тогда, что сформулировал один из важнейших постулатов всего моего последующего развития.

* * *

Постепенно я вжился в Париж и, возможно, превратился бы, в конце концов, в парижанина, но... возникли трудности. Занятия я не посещал, экзамены не сдавал и в Институт международных отношений не заглядывал. Как все это оправдать перед отцом, который в письмах спрашивал о моих успехах? К счастью, снова дали о себе знать вылеченные «верхушки» легких, появилась небольшая температура и связанное с этим ослабление. Янек Балиньский взял надо мной шефство и отправил к врачу. Решив, что эта болезнь мне как бы с неба упала в качестве наилучшего оправдания ничегонеделанья, я раскряхтелся перед медиком, который предписал мне немедленно выехать на юг, в горы.

Вот так однажды ночью я оказался в поезде, который помчал меня к департаменту Восточные Пиренеи, туда, где Пиренеи врезаются в Средиземное море, в шаге от Испании. Я ехал в клочковатом состоянии духа, полный бродильных элементов, накопившихся за время пребывания в Париже. В ту ночь мне стало ясно, что я буду художником, писателем.

Со мной не случилось ничего чрезвычайного во время этого путешествия (у меня вообще ничего не случается), но и сегодня, когда я еду ночью в поезде, а за окном мелькают непостижимые формы и таинственный свет, во мне эхом отзывается та тогдашняя езда, до краев наполненная сильными чувствами, граничащими с ясновидением.

Впрочем, это не совсем правда, что со мной ничего такого не произошло. Произошло. Со мной ехала шотландка, молодая, невзрачная. Я познакомился с ней, и мы проговорили большую часть ночи. Уж и не помню маршрута, по которому шел поезд, но выяснилось, что наши дороги расходятся вроде как в Перпиньяне: узнав это, шотландка восторженно воскликнула, что наконец-то нашла того, кому может довериться, того, с кем хорошо разговаривать и кого она больше никогда в жизни не увидит, потому что она ехала на короткие каникулы на море, а потом возвращалась в Шотландию, то есть туда, куда я наверняка не соберусь, и недолго думая, приступила изливать свою душу в таких подробностях, которые в действительности оказались кошмарными, поскольку в их семье происходили вещи, далекие от приличия, а в этих неприличностях моя шотландка принимала активное участие. Мы нежно попрощались в Перпиньяне. Но этим не исчерпывается вся удивительность той истории.

Где-то около полудня я добрался до цели, а именно – до Ле Булу, маленького курорта в Пиренеях. Значительная часть следующего дня была у меня занята игрой в бильярд с мест-

ными, то есть с пролетариатом, передвигающимся практически исключительно на велосипеде и настолько сильным на бильярде, что мне с большим трудом удалось доказать, что и поляк тоже не промах. А близость Средиземного моря, которое до сих пор я в глаза не видал, начала меня беспокоить. эта *thalassa*¹⁴ была недалеко, каких-то тридцать километров, правда, очень крутой дороги, поскольку горы кончались прямо у моря – наклонная плоскость, по которой обычный велосипед летит со скоростью мотоцикла.

Когда я узнал, что в ближайшее воскресенье мои друзья по бильярду выбирают на пляж до Баньюльс, я арендовал велосипед и ранним утром мы большой компанией отправились вниз по шоссе.

Прекрасное путешествие, полное непередаваемой поэзии, сотканной из, казалось бы, малозначимых деталей, поэзии, утопающей в солнце. Мои попутчики – молодые говорливые рабочие примерно моего возраста; живая компания, по-французски веселая, юморная. Всю дорогу мы ели апельсины, бананы, пили вино... так что, видимо, поэтому наш путь до Баньюльс состоял из все более витиеватых зигзагов, а под конец я был так пьян, что, доехав до места назначения, не смог даже слезть с велосипеда и все ездил и ездил по кругу на площади, не в силах сообразить, как бы так сделать, чтобы велосипед остановился и я спешился.

Однако помню, как впервые, когда я съезжал в группе

¹⁴ Thalassa— море (греч.).

этих шумливых южан, моему взору вдруг открылось блестящее вдали неподвижное зеркало воды, латинско-... [*в машинописном варианте рукописи отсутствует строка*]... объявилось сразу, будто подняли занавес; то, чего не могли сделать все соборы и музеи Парижа, сделала эта вскружившая голову лента шоссе, ведущего к морю, и мне вдруг открылись, стали понятны Юг, Франция, Италия, Рим и тысяча других вещей, все это впервые стало для меня драгоценным – для меня, до той поры считавшего, что брюнет – человек низшего сорта. Белизна этих камней, благородная пепельная серость платанов, лазурь над нами и перед нами, выразительные линии, завершенность очертаний – я все понял. И был восхищен, что эта святость излилась на меня, когда я сломя голову неся в шумной и веселой от вина группе молодых рабочих, дикость которых свободно и стихийно переплеталась с культурой. Вся французская культура, которая до сих пор открывалась мне как мещанская и отвратительная, теперь предстала передо мной как нечто стихийное и чуть ли не дикое – я был покорен. И с этого момента я больше не испытывал отвращения к Югу.

Баньюльс – маленький порт, несколько домиков, приютившихся в колоритных уголках обрывистого берега – все красивое, хоть и слащавое, открыточное; я не люблю таких красот – слишком красивы, будто специально напоказ. Но чистота контура, безупречная строгость светотени, белизна плоских домиков и торжественная голубизна дышали пате-

тикой и мирили меня с красотой пейзажа. Я решил задержаться здесь, хоть это и противоречило предписанию врача, рекомендовавшего горы: на следующий день я собрал чемодан и нашел пансионат. Льющуюся с неба жару, лишаящую человека последних сил, внезапно прервала буря, одна из самых грозных, какие видели здешние берега. Дождя не было, а вот ветер дул с такой силой, что пронизывал насквозь, все было пьяно от ветра, снесено с ног, даже за закрытыми дверями все в доме выло и шумело. Гороподобные волны, в наличие которых на Средиземном море я никогда бы не поверил, обрушились на несчастный, вымытый и стонущий пляж.

Это продолжалось три дня. На четвертый день прояснилось, и стало сладостно и радостно, защелкали птицы, а я в прекрасном расположении духа мог фланировать по пляжу в обществе барышень из моего пансионата, как вдруг... ба! Шотландка! Та самая, с поезда! Сидит на песке в двадцати шагах от меня! Завидев меня, залилась краской; я, честно говоря, тоже легко краснею и при виде ее пунцовых щек стал красным как помидор. Сопровождавшая меня девушка ехидно заметила:

– Так вы, стало быть, знакомы!

Делать было нечего, в Баниюльс все знают друг друга, так что даже если бы нас не выдал румянец, нам вряд ли удалось бы избежать контакта. В тот же вечер мы отправились на прогулку на скалы, а в течение дня нас постоянно объеди-

нял пляж. Естественно, ей это доставляло значительно больше неудобств, чем мне, — бедняжка, когда я сказал ей в поезде, что еду в горы, она была уверена, что больше не увидит меня, потому что сама ехала к морю, но мы оба забыли, что здесь море и горы в непосредственной близости. Но что хуже всего, так это то, что ее постоянно заливал пунцовый румянец, что и меня заставляло краснеть: словечка, хоть чем-то напоминавшим тот наш разговор в поезде, было достаточно, чтобы мы попали в силки смущения.

Двух дней мне хватило с головой, и я решил покинуть Баньюльс. Собрал манатки и переехал в ближайший Вёрне-ле-Бэн, местность более симпатичную, чем Ле Булу. Я все понимаю и ни от кого не требую верить мне: на следующее утро, выйдя из отеля, я изменил свой цвет — стал красным перед лицом другого багрянца: по уши красная, из автобуса с чемоданами выходила она... шотландка.

Она тоже решила уехать из Баньюльс и тоже поехала в Вёрне!

Несколько раз в моей жизни имели место столь потрясающие «стечения обстоятельств», что я никогда не осмелился бы вернуть их в роман. Это как с заходами солнца, о которых говорят: «если бы их кто-то нарисовал, сказали бы, что такого не бывает».

12. IX.60

Приближалось лето. Я вернулся в Польшу продолжать каникулы. Так закончилась моя парижская учеба, которая, по сути, так никогда и не началась, потому что не больше двух раз заглянул я в этот мой Институт международных отношений. И все же встреча с Западом была для меня чрезвычайно важна, ибо не только обостряла все польское во мне, но и вводила меня в Европу.

Думаю, что, описывая в этих воспоминаниях свои трудности, я, в сущности, описываю процесс формирования поляка моего поколения, что, вполне возможно, гораздо важнее, чем рассказать пару анекдотов из собственной жизни.

Встреченная после продолжительного пребывания за границей Польша показалась мне не менее поучительной, чем Париж: я впервые смог окинуть свежим взглядом те вещи, среди которых вырос и на которые раньше не обращал внимания. Одно досадное воспоминание осталось в моей памяти, а почему именно оно, а не другое, не знаю... На следующий день по приезде из Парижа я сел в варшавский трамвай... Лица. Сонные, тупые, вялые, осунувшиеся лица... парализующая бедность, как сон... А ко всему славянская апатичность... И какие-то странные одежды, экзотиче-

ские, не европейские... Еще долго после Парижа я вылавливал в Польше неевропейскость, все пытался нащупать, где пролегает граница между польским и европейским.

Что бросалось в глаза, так это пролетариат. Народ!

Я начинал понимать: на Западе уже не было пролетариата, по крайней мере, пролетариата, как его понимали поляки. Там были работники умственного труда и работники физического труда, те, что побогаче, и те, что победнее, но в общем нищета не доходила до такой степени, чтобы сформировался особый вид человека, другой «класс». Босоногие девки на улицах Парижа – дело немыслимое.

И вот все эти бродильные начала, привезенные из Парижа, я тщательно скрывал от семьи и знакомых. Мне было важно, чтобы никто не сказал, что Париж изменил меня: мне представлялось моветоном быть одним из тех молодых людей, которые возвращаются с Запада цивилизованными, так что я вел себя совершенно так же, как и прежде. В разговорах отделивался от Парижа и Франции шуточками и поговорками, не демонстрировал какой-то более сильной привязанности к Европе, к европейскому духу. Впрочем, моя европейскость ничуть не мешала мне жить в Польше и никак не склоняла меня к новой поездке за границу. Я был слишком ленив и, что там говорить, жить в семейном кругу приятнее, чем скитаться по гостиницам. Вот я и не давил на родителей, у которых, в общем, не было иллюзий относительно моей учебы

в институте. «И в Париже из осла не сделают риса»¹⁵ – иронизировал мой отец, когда его спрашивали про мои успехи. Я отказался от дальнейшей учебы в Париже и приступил к стажировке в суде у судебного следователя Мышкоровского.

Это было интересно. Судебные следователи работали в здании на улице Новы Зъязд, над Вислой. У моего начальника, судьи Мышкоровского, было две комнатки со входом из длинного коридора, где было полно заключенных и полицейских. В первой комнатке стояли наши – стажеров – столы, вторую комнатку занимал судья.

Наша задача состояла в обработке уголовных дел, направленных в Окружной суд, то есть важных дел. Судья давал мне папки предварительного расследования, проведенного полицией.

– Коллега, интересненькое дельце, и даю его вам, потому что знаю – вы любите играть в шахматы. Проблема, однако... Подделал, не подделал... Здесь надобно будет перепроверить под разными углами, с учетом разных обстоятельств, изучите материалы дознания хорошенько...

Эти дела содержали рапорты полицейских, проведенные «по горячим следам» допросы, материалы осмотра места преступления, трупов и т. д. Все это следовало внимательно прочитать, и полицейское следствие надо провести еще раз, углубить и придать ему правовую форму. Судья, естествен-

¹⁵ Так у Гомбровича: «из осла». Возможно, именно так и говорил его отец, хотя в устоявшемся народном варианте этой поговорки – «из овса». *Примеч. пер.*

но, все контролировал и подписывал сам, но оставлял за нами определенную свободу действий... и когда перепуганного злоумышленника полицейский доставлял ко мне и тот садился на стульчик перед моим столом, я чувствовал себя на коне, особенно принимая во внимание рекомендацию нашего начальника не поправлять подозреваемых и свидетелей, когда те обращались к нам «господин судья», потому что всегда лучше, чтобы они думали, что перед ними сам судья, а не какой-то там стажер.

В течение моего годичного с хвостиком пребывания в следственных органах я столкнулся с самыми разными правонарушениями: убийства, преступления политические, на сексуальной почве, грабежи, мошенничество... Порой случалось иметь дело с сумасшедшими, иногда присутствовать при вскрытии трупа, что приятным не назовешь. Помню, впервые с этим мне пришлось столкнуться как раз в день именин... я позавтракал в предчувствии, что недолго завтраку оставаться в моем желудке, после чего направился в мрачное здание, где врач в белом халате старательно пилил несчастному покойнику череп. Нам, ассистентам, приходилось значительно тяжелее, чем врачам: во-первых, они были людьми привычными, а кроме того, работа их как бы поглощала... мы же, будучи новичками, не имея чем заняться и вынужденные на все это смотреть, были обречены на самую причудливую игру фантазии...

Может показаться, что из такого контакта с нищетой и

преступностью я почерпнул мало поучительного, однако на самом деле все обстоит несколько иначе. Я давно заметил, что ни с чем человек не осваивается так быстро, как с «дном», но быстрее остальных это дается тем, кто соприкасается с ним профессионально, – врачам, например, или стажерам в суде. Через пару месяцев я понял принцип работы системы: с этими людьми «разделялись», и, как говорится, делу конец. Мне было присуще одно свойство, с которым я наверняка родился и которое не слишком подходит судье: абсолютное отсутствие понимания, что этот кто-то, кого я мучаю вопросами с подвохом, на самом деле «виноват». Гораздо ближе мне точка зрения, что «происшествие имело место» по причине невезения. Эта убежденность в абсолютной невинности человека была во мне не какой-то определяющей меня философией, а скорее неким спонтанным ощущением, которого я не мог в себе преодолеть.

Порой это создавало странные ситуации. Так, однажды в окружном суде (я был тогда придан окружному суду и моей обязанностью было вести протоколы заседаний) председательствующий после объявления перерыва поручил мне спросить кое о чем подсудимого. Подойдя к скамье подсудимых, я спокойно подал руку преступнику и только удивленные взгляды адвокатов дали мне понять мою бестактность.

Ведение протоколов на судебных заседаниях было делом отнюдь не простым. Заседание начиналось в 9 утра и заканчивалось порой ночью, с коротким обеденным перерывом.

В течение всех этих долгих часов нельзя было терять нить и приходилось постоянно быть в напряжении. Дела не раз оказывались сложными, и совершенно неизвестными мне, несчастному секретарю; приходилось схватывать суть на лету... А сколько раз они тонули в бестолковой тарабарщине простаков, истеричек, профессиональных пройдох! Иногда сам председательствующий оказывался путаником и усложнял дело самым жутким образом. Но хуже всех в этой ситуации оказывались судьи, имеющие высокое мнение о своих умственных способностях и любящие ими блеснуть: такой судья на полуслове прерывал показания, переходил к следующему пункту, а формулирование правильного ответа в протоколе оставалось на совести стажера.

К счастью, заседания были лишь два раза в неделю. После заседания я брал дела домой, набело переписывал протоколы и спокойно жил до следующего заседания.

Однажды ко мне обратился секретарь:

– Судьи просят вас написать предложения относительно изменения текста печатных формуляров.

– Почему именно меня?

– Потому что считают вас лучшим.

Меня? Я очень был удивлен. Я не разделял этого мнения. И что самое интересное: не сделал ни малейшего усилия, чтобы узнать, правда ли это. Мне было все равно: уже тогда я понял, что юристом не буду.

Работа в суде занимала у меня не так много времени: всего два дня в неделю. Свободное время я заполнял книгами, которые читал запоем и беспорядочно (метод или скорее отсутствие метода, лучше всего способствующий интеллектуальному развитию, в чем я позже убедился). А еще я вернулся к другому моему занятию, которое давно уже забросил: стал писать.

Но на сей раз это были не неудачные в своей несуразной концепции опусы, а трезвая работа, нацеленная на конкретный результат. Я приступил к написанию коротких форм – рассказов – с той мыслью, что если не получится, то сожгу и начну что-нибудь новое. Однако все рассказы, по крайней мере на мой взгляд, получались. За время учебы в университете, когда я, как могло бы показаться, отдалился от литературы, у меня сформировался новый стиль, и теперь я открыл в себе твердость руки, о наличии которой не подозревал.

Я часто мысленно возвращаюсь к тем моим первым литературным работам, которые, как выясняется сегодня, вовсе не были такими уж пустяковыми и что в мире у них есть серьезные почитатели. Я пытаюсь вспомнить, в какой степени я тогда осознавал, что я делаю. Понимал ли, например, современность своей прозы? Что она была так непохожа ни по духу, ни по форме на тогдашнюю нашу литературу? Мне

сегодня очень трудно воспроизвести сопровождавшее меня тогда настроение, тем более, что писательство – это работа тяжелая, кропотливая, ежедневная возня с текстом; я писал как бы наобум, не заморачиваясь общим направлением своего сомнительного «творчества». Одно помню: нонсенс, абсурд с самого начала очень пришелся мне по вкусу; ни от чего не получал я такого удовольствия, как от появления под моим пером самой что ни на есть безумной сцены, оторванной от (здорового) шаблона формальной логики, но в то же время глубинно оправданной какой-то своей собственной, отдельной логикой.

Так родились рассказы «Адвокат Крайковский», «Дневник Стефана Чарнецкого», «Преднамеренное убийство» и «Девственность». Я никому не показывал их. Робел. Потому что я все еще, несмотря на жизнь в Варшаве и работу в суде, был кем-то «из деревни», истинным сыном помещичьей среды. И хотя я знал уже вдоль и поперек наивность и беспомощность сельской шляхты, что-то из ее недоверия к искусству и к художникам прилипло и ко мне, и прилипло навеки. Литературная работа казалась мне чем-то смешным: какая нелепость быть профессиональным художником, быть поэтом! А уж что говорить про начинания молодого человека, впервые занявшегося «бумагомаранием»: в моем понимании они были обречены на неизлечимую претенциозность.

Одно я знал точно и отдавал себе в этом полный отчет: все

мои писательские опыты были в жесткой оппозиции... оппозиции ко всему... сам их тон был слишком бунтарским... «Если я войду в эту палату лордов, — думал я, — то только как Байрон: затем, чтобы сесть на стороне оппозиции».

Одновременно меня накрыла с головой еще одна страсть — теннис. Я записался в спортивный клуб «Легии» и ушел в дело с головой: клубная атмосфера, соперничество, образующиеся между игроками иерархии — все это превратило для меня теннис в нечто более возвышенное, чем мои любительские выходы на сельские «корты». Я начал играть со страстью и достиг определенного прогресса, но выдающимся игроком так никогда и не стал.

Моя тогдашняя жизнь была, как сами видите, пустой. Облегченная жизнь, вдали от жизни настоящей, ну разве что ежедневное корпение над рассказиками могло претендовать на нечто серьезное. На меня тогда накатывали волны глубокого отчаяния, ощущения абсолютной униженности. Разве это жизнь? Неужели я и дальше буду паразитировать, тешась рассказиками, теннисом и работой стажера в суде, которая тоже не была настоящей работой, а лишь производила видимость работы. Глухая ненависть ко всему, что облегчало мое существование — к деньгам, происхождению, образованию, связям, — ко всему, что превращало меня в сибарита и лентяя, что вставало, как водная преграда, между мной и жизнью, эта глухая ненависть все сильнее меня разъедала: еще немного, и я стал бы коммунистом. Я никогда не был так бли-

зок к коммунизму, как тогда, ожесточенный, опустошенный, переполненный злобой к самому себе. Я бы с удовольствием прибег к коммунизму как к оружию, чтобы разбить комплекс всех тех обстоятельств, которые меня столь фатально обложили. Но я никогда не мог избавиться от убеждения, что коммунизм – это теория, неспособная реально преобразовать жизнь, его интеллектуальные схемы представлялись мне неприменимыми на практике.

Но как-то раз, в Закопане, мне открылась простая истина о моей жизни... облегчившая мне жизнь...

Я так поэтически выражаюсь, потому что это тоже было поэзией... Вечер. Долина Косцелиска. Я, уставший, бреду одиноко... два моих приятеля где-то далеко сзади... иду, и меня снова охватывает мучительное ощущение, что я теряю время, что я не живу, что я гибну. Горы надо мной – и те давят на меня меньше, чем эти проклятые мысли. А тут прямо впереди приют, хорошенький закопанский домик, из которого выходит хорошенькая девушка. Официантка. Я прошу что-нибудь поесть, официантка садится рядом, я угощаю ее пивом, никого нет, тишина, свежесть гор, свежесть этой девушки. Недолго думая, я вываливаю перед ней все свои печали, которые до той поры хранил втайне от всего мира, точь-в-точь как та шотландка, которая исповедалась передо мной во Франции, потому что, думала, никогда больше не увидит меня. Девушка была легка той легкостью, какую рождает спортивная атмосфера, и чиста – той же чистотой от

спорта... Она внимательно выслушала меня и выдала четкое суждение:

– Глупости! Понятно, что жизнь у тебя легкая... но для тебя твоя легкая жизнь труднее, чем для иного его тяжелая жизнь, так что то же на то же выходит!

Эта истина не ослепила бы меня так сильно, если бы шла не от нее... от этого воплощения здоровья и простоты, имевшего как женщина право судить мужчин. Да! Жизнь моя не была легкой! Жизнь моя была тяжелой, и главной ее тяжестью была ее легкость.

Я начинал понимать свое призвание, и это меня успокаивало... Не хочу отягощать этих воспоминаний слишком утонченными выводами. Грубо говоря, передо мной возникла возможность прибегнуть к приему, который имеет широкое применение в искусстве: превратить слабость в силу, дефект – в ценность. Моей аутентичной и реальной драмой могло бы стать отсутствие естественности и связи с реальностью.

Между тем я строчил фантазийные рассказы, откладывая на потом разбирательство с жизнью, как своей, так и чужой. Я был увлечен выработкой для себя формы, открытием своих особенностей как стилиста, рассказчика... Фантазия! Я позволял ей скакать куда ей вздумается, а потом, идя по ее следу, приводил в порядок все, что она мне подбрасывала.

Кроме Стася Балиньского, которому я не слишком доверял в этих материях, я не знал никого из литературного ми-

ра. А тут так получилось, что, кажется, в 1928-м я снова поехал в Закопане, на сей раз зимой, и остановился в пансионате «Мирабелла», собственности канонички по фамилии Щука, находившейся в приятельских отношениях с моей сестрой. Это был маленький пансионат, дела которого вела сама каноничка. Сразу по приезде я убедился, что я, что называется, «попал». Там была еще приятельница моей сестры, Халина Дерналович с матерью, а кроме того, другие особы из так называемого общества, что обязывало меня проявлять хорошие манеры, тем более что все дамы были высокоморальными и в высшей степени религиозными.

Через несколько дней я уже стал серьезно подумывать, не съехать ли отсюда куда-нибудь, и тогда в пансионате появился молодой человек – высокий, сутуловатый, с благородным лицом, темпераментный брюнет с блеском в глазах – Тадеуш Бреза. Боюсь, что те, кто сегодня знает Брезу (писателя, а сейчас, кажется, атташе по культуре в польском посольстве в Риме), понятия не имеют, какой фейерверк он представлял собой в молодости.

* * *

Я знаю мало кого, чей писательский труд был бы и так похож на них и так непохож, как у Тадеуша Брезы. Что я имею в виду: труд похож на него в определенном отношении, но не дает ни малейшего представления о других лич-

ных чертах. Письмо Брезы тонкое, культурное, тщательное, детальное, чувственно склонившееся над предметом описания – все это вы сразу найдете и в нем, как только его узнаете, – но где в этом письме сумасшедший юмор, задор, поэтический полет Тадеуша, по крайней мере такого, каким я увидел его тогда, в молодости, когда он появился в пансионате Халины Щуки, в Закопане.

Развалившийся на диване среди этих пань, которые остались у меня в памяти (Крыся Скарбек, Лиза Красицкая, панны Табенцкие, сама каноничка, которая тоже была молоденькой, панны Ходкевич) с ореолом завсегдатая литературных кругов, со «скамандритами» на дружеской ноге, приятельствующий с Ивашкевичем, он концентрировал на себе разговор, который вскоре превращался в безумную пляску нонсенов. «Собственно говоря, – объяснял Тадеуш одной из них, – ты ни на что не годишься; неизвестно, на что тебя употребить; может, для переноски тяжестей или лучше непосредственно в качестве груза, в смысле балласта, так, можно было бы тебя привязать к концу троса, когда с улицы поднимают мебель на верхние этажи, хотя, кто знает, ты ведь из деревни, так что, пожалуй, лучше подойдешь сажать что-нибудь... например, редиску... а может, тебя лучше использовать в качестве грунта для рассады, посадить тебе редиску в уши...» Так понемногу одна бредня наворачивалась на другую, захватывая все более широкие области, самые неожиданные... меня этот вид юмора восхищал.

И этот жанр Тадеуша позволял ему совершать такое, от чего захватывало дух. Например, он вдруг ни с того ни с сего стал обращаться ко всем пожилым дамам на «ты»: подходил к дивану, на котором царственно восседала величественная пани Ходкевич и громко, чтоб все слышали, начинал: «Ну, как у тебя дела, Ходкевич? Как поживаешь?» Странное дело, но дамы прощали ему это. Он был неутомим в шутках, раз даже на одном приеме украл – для смеха – серебряные приборы.

Я сразу подружился с Тадеушем, но эта дружба с самого начала была сложной. Ему трудно было сориентироваться во всех раздражениях и комплексах, которые лишали меня жизненной свободы: он не понимал, каким чудом во мне могли соединяться обширная культура и абсолютное отсутствие светской обходительности, не замечал он также, что присутствие подружек моей сестры очень стесняет меня; не в том смысле, что я слишком забочусь об их мнении, сколько в силу того, что я не мог найти в отношениях с ними правильной формы. В самом Тадеуше меня раздражали чрезмерная утонченность, гипертрофированная деликатность... Несмотря на это, наши отношения в Варшаве стали более тесными, и я вошел в круг его общения: Кася Турно, тогда, кажется, его невеста, Мауэрсбергеры, Тонек Собаньский, Ежи Пачковский, ставший впоследствии редактором «Шпилек», и кое-кто еще. Адашь Мауэрсбергер и его сестра Зося вносили в эти наши сходки много жизни, а дом их ро-

дителей на Сенаторской вскоре стал вторым нашим сборным пунктом.

В конце концов, я дал Тадеушу мои рассказы — четыре, — чтобы сказал потом свое мнение о них. Возвращая, он похвалил их; по его мнению, это были действительно стоящие вещи. И в доказательство серьезности своих слов пригласил меня на завтрак с Грыдзевским, редактором «Литературных ведомостей» (*Wiadomości Literackie*), и с Ярославом Ивашкевичем.

Я шел на тот завтрак, охваченный нервным трепетом и любопытством. Ивашкевич, хоть и молодой, но уже знаменитый, вокруг «скамандритов» витала слава чего-то нового, необычного, а «*Wiadomości Literackie*» Грыдзевского стали центром той культурной революции, которая вместе с другими революциями межвоенного двадцатилетия изменяла вкусы и обычаи. До сих пор я был лишен контактов с этими тусами, наш кружок — куда входили я и Тадеуш — был кружком явно не такого высокого полета... Мы пошли в ресторан (названия не помню) на Театральной площади, зато помню, что эта первая встреча с группой «Ведомостей» оставила во мне неприятное впечатление. Сегодня меня с Ивашкевичем соединяют дружеские отношения, не забуду и то, что он оказался первым читателем моей пьесы «Венчание» и что его восторженная реакция придала мне сил в тот самый момент, когда я практически дошел до дна в аргентинской глуши... Но это другая история, а что касается того завтрака, то он не

слишком удался...

Грыдзевский смачно пожирал громадные количества мясной нарезки. Разговор свелся к поговоркам, шуточкам, но и те были какими-то не слишком живыми, в чем наверняка есть доля моей вины, потому что и тут, с литераторами, я как бы наперекор принял стиль деревенщины, который еще в Париже успел мне сильно навредить.

– А это что за цедульки? – пренебрежительным тоном спросил Тадеуша Ивашкевич, указывая на лежавшие на столе бумаги.

– Да так... ничего... – ответил смутившийся Бреза. – Мои.

А то была машинопись моих рассказов, которые он принес как раз для Ивашкевича. Может, Ярослав догадался, что это мои тексты и решил таким образом намекнуть, что после состоявшегося со мной знакомства не ждет ничего хорошего?.. А может, это было совершенно спонтанно? Во всяком случае, такое отношение охладило меня окончательно и на долгое время освободило от желания сблизиться со «скандритами».

Человеком я был гордым, и высокомерного отношения ко мне этих уже реализовавших себя в литературе людей перенести не мог. Я не мог согласиться на второстепенные, а то и вовсе третьестепенные роли, но, с другой стороны – чем реальным я мог бы похвалиться? Ничем... Точно так же и у них не было никаких причин считаться со мной, поскольку моя гордость не позволяла мне заискивать перед ними. Вот

я и вел себя с ними – будто нарочно – значительно хуже, чем с другими.

«Скамандр»! Эти парни родились под счастливой звездой. Они вошли в литературу, когда в Европе подули теплые и живительные ветры, когда распахивали окна, ломали решетки. Они дышали воздухом революции, но не жестокой, а благодушной, благоволящей искусству. Они начали писать стихи в тот момент, когда миру была нужна поэзия и мир искал ее. Они сбились в группу исключительно сыгранную и сплоченную. Нашли прекрасного импресарио в лице редактора Грыдзевского. Сразу получили популярность, влияние, даже славу. Вот так... Но на таких дрожжах вырастет разве что талант или талантишко, но не настоящая литература: она требует менее симпатичной, менее, сказал бы, компанейской атмосферы, она развивается на обочине, в одиночестве, в противостоянии, в робости и стыдливости, в бунте и страхе. В этом смысле я и мои ровесники оказались в более счастливом положении: нас ждала дорога, обещавшая больше трудностей, но и больше результатов. Точно не скажу, когда я понял духовный и художественный провал «скамандритов», но определенно задолго до войны у меня уже не было иллюзий: от них не следовало больше ждать ничего, что могло бы выйти за рамки обычной выдачи на-гора стихов, получше или похуже. Они не были из числа тех, кто открывает новые земли в искусстве, обогащает знание о человеке, созидает новый стиль, ввергает в новые беспокойства.

Некоторые, как Тувим, Ивашкевич, Слонимский, заняли высокие места в польской поэзии или прозе, но не в польском творчестве.

У них не было недостатка в смекалке и тактической ловкости. Еще представится случай рассказать, как они затерроризировали варшавское кафе, а через него и прессу: не будучи масштабными творцами, они, тем не менее, выработали собственный жанр, который обеспечивал им преимущество вплоть до момента, когда война смела все.

* * *

Я постепенно проникал в художественный мирок, а моя стажировка в суде тем временем, пусть медленно, но все же продвигалась: я работал в окружном и апелляционном суде секретарем, в обязанности которого входило вести протоколы судебных заседаний. Эта работа устраивала меня: она оставляла довольно времени на литературу, и я даже дошел до такой скорости протоколирования, что и во время судебного процесса, в менее напряженные моменты мог что-то параллельно калякать.

Суд стал своего рода замочной скважиной, через которую я мог наблюдать убожество жизни вообще, и польской в частности. Мне оно не было чуждо, я хорошо знал его, может, не столько из собственного опыта, сколько потому, что был очень впечатлительным к таким делам и не предавался ил-

люзиям, а это значило больше, чем все те преимущества, которые дает личный опыт нужды и невзгод. Но только в суде это приобретало форму, суд был чем-то вроде постоянно действующего театра, показывающего мне в разных своих постановках драму низшего мира. Я смотрел на нее с моего приставного стульчика у судейского стола, и порой трудно было сдержаться, чтобы не взорваться язвительными и горькими аплодисментами.

Присматривался я и к высшим сферам, призванным судить сферы низшие: к судьям, прокурорам, адвокатам. Судьи мне нравились гораздо больше, чем адвокаты, к которым я испытывал антипатию (до сих пор испытываю) за их претенциозность, риторику, краснобайство, за всю их болтовню, претендующую на культуру, гуманизм, философию, тогда как по сути дела они были далеки от этих областей. В суде становилось ясным, что юридический факультет не дал им ни так называемого «общего образования», которым они так гордились, ни просто хорошего воспитания в более глубоком, гуманистическом смысле. Они оказывались не на уровне задач, которые ставила перед ними человеческая беда...

Вопреки тому, что обо мне говорилось и писалось в течение многих лет, я никогда не был равнодушным к проклятому вопросу легкой жизни богатых и трудной жизни бедных, разумеется, это с самой ранней молодости бредило меня всегда и болезненно и мучительно. Вот только... Впрочем, лучше я приведу диалог с одним из недавних знаком-

цев, склонным к коммунизму литератором (а не Важик ли это был?). Короче, не помню, ни кто это был, ни в каком году это происходило, но сам разговор оказался для меня очень важным.

Все началось с того, что он пренебрежительно намекнул на мое сибаритство и на мое «целомудрие»: «Что с вами говорить, – как-то так сказал он, – вы жизни не знаете, живете как в теплице, вдали от борьбы за существование, что вы вообще можете знать о проблемах общества?»

Действительно, это была моя ахиллесова пята, но я уже знал, как защищаться. Ничего ему напрямую не сказал, но в продолжении разговора вернулся вроде как случайно к этой теме и заговорил о том, что я наблюдал в суде... о том представлении, которое я там видел. Но старался показать и тоном, и лексикой, что не так уж и далек я от жизненных реалий.

Он удивленно взглянул на меня.

– Я-то думал, что вы маменькин сынок, а вижу, что вы, однако, в курсе дела...

– В жизни я разбираюсь, и знаю, что это такое, лучше вас, коммунистов, хотя сам никогда не бедствовал.

Прозвучало хоть и высокомерно, зато не расходилось с правдой: личное переживание чего-то не всегда увеличивает чувствительность, более того – иногда даже снижает ее уровень.

– Если вы всё так глубоко чувствуете, то почему не стали

коммунистом?

– Не стал, но не потому, что мне не нравятся ваши цели, а потому, что я не верю, что вам удастся чего-либо достичь. Вы только еще больше неразберихи внесете.

Эти слова отражают мое ощущение бессилия перед так называемым социальным вопросом. Я не верил, что его можно решить с помощью революций, пятилеток, системы, плана... я был убежден, что теории, мечтания и порывы могут только притормозить медленную органическую работу на всех фронтах – научном, техническом, моральном – ту единственную, которая только и может улучшить долю пролетариата. Революционеры, коммунисты, с которыми я сталкивался по жизни, никогда не казались мне абсолютно нормальными: это были либо мечтатели, либо завистники, либо теоретики, и я не верил в их практические достижения. Я считал, что для решения этих громадных проблем недостаточно только моральных оснований и даже самого прекрасного идеализма, что здесь надо вооружиться прежде всего тем, что называется прагматичностью. Вот почему я даже не пытался хоть как-то задействовать в своем только еще начинающемся творчестве хотя бы одно из тех бунтарских чувств, которые раздирали меня в суде: это было бы неэффективно, непрактично, как в жизненном плане, так и с точки зрения искусства.

Кое-какие результаты могло бы дать нечто другое, а именно то, что я мог сделать как художник и писатель. И оно –

это другое – тоже явилось мне в ходе судебных заседаний.

Как назвать это нечто? Я не годился для того, чтобы облегчить долю низших сфер, но как знать, вполне возможно, мог бы поспособствовать исправлению образа жизни верхов, этой судейской интеллигенции, относительно судимых ею низов – пролетариата или полуинтеллигенции.

Вы помните, как меня раздражала земельная знать, тучные и зычные бары на фоне народа, эти исковерканные люди на фоне людей прямых, простых? Как меня раздражало их высокомерие, бестактность, наивность, обжорство, их пухляк, их изнеженность, их болезненность? Все эти их прелести имели общую причину – облегченную жизнь, в которой доход обеспечен, гарантирован. Это именно то, что изводило и меня! Так вот, представители высших социальных слоев, с которыми я общался на территории суда, эти функционеры от правосудия, являли собою значительно более достойный уважения материал: они работали, порой очень тяжело, знали, что такое ответственность, дисциплина, иногда даже сносили унижение – благодаря чему могли не стыдятся смотреть в глаза тем, кого судили, кому выносили приговор. Однако моя обостренная на эту тему впечатлительность подсказывала мне, что здесь не все в порядке: я чувствовал в поведении этих людей некую фальшь. Их превосходство было слишком уверенным в себе, слишком высокомерным. Похоже, они чувствовали себя призванными контролировать, муштровать этот пролетариат, и ничего больше. А ведь эти

судьи, адвокаты, хоть и лучше, чем помещики, но тоже были далеки от совершенства, их лысые головы в очках, их мягкие и дебелые интеллигентские тела выглядели не слишком убедительно и трудно было отделаться от впечатления, что и они тоже карикатура, только как бы навыворот... Нищета деформировала пролетариат, удобства и праздность деформировали помещиков, своим образом жизни была испорчена и городская интеллигенция... Что же выходит, что никакая жизнь не создаст человека совершенного? Неужели всегда должны получаться такие дополняющие друг друга осколки, фрагменты человечества?

В судьях и адвокатах меня больше всего раздражало то, что, упившись своей ролью, очарованные своей функцией, они забывали о своем уродстве и несовершенстве. Они осознавали лишь то свое превосходство и ту силу, которыми их наделял закон. Они забывали о своей наготе... той самой, физической, да и духовной тоже... и не были способны взглянуть на себя со стороны... Короче говоря, это была ошибка стиля, ошибка формы, имеющая чрезвычайное значение, поскольку делала человека продуктом исключительно своего класса, своей социальной группы, отрезала его от других жизней, суживала, ограничивала, делала невозможным любой творческий контакт с другими людьми... К скольким жизням они не имели доступа! И я тоже не имел!

Разрушить эту их форму, навязать ту, которая позволила бы высшим снизойти до низших, вступить с ними в творче-

ский союз... Да! Но как это сделать?

* * *

27. X.60

Варшава тем временем изменилась внешне... Исчезали булыжные мостовые, в простонародье называемые «кошачьими лбами», исчезли конные экипажи, гетры, тросточки, шляпы-котелки, цилиндры, лакированные штиблеты, жесткие воротнички и вообще всякая жесткость... Разницы в десять лет между моим старшим братом и мной хватало, чтобы увидеть ускоренный темп перемен во всей его красе. Мой брат принадлежал к «золотой молодежи», которая уже давно потихоньку сходила на нет, он был, как тогда говорили, «парень из деревни», форсил, ходил, размахивая тростью, сверлил женщин глазами, в театрах сидел только в первых рядах и вообще держал шляхетско-барский фасон... Я уже не пользовался тростью, скрепя сердце соглашался на жесткий воротничок, не бывал в модных заведениях, не доходило у меня и до дуэлей, я не шлялся на гулянки и на пьянки. Мой брат, как бы пусто у него не было в кармане, всегда подъезжал к кофейне Лурса в приличном экипаже, пролетке, которую (когда он был совсем на мели) брал на ближайшем перекрестке только ради того, чтобы выйти из нее перед «Лурсом» с подобающим блеском. Я, к немалому огорчению моей

семьи и разных дальних родственников, часто пользовался в деревне велосипедом, а в городе почти всегда трамваем.

Мой отец благосклонно отнесся к переменам, лишь время от времени сокрушаясь, что вместе с анахронизмами улетучивается прежнее приличие не только манер, но и душ. Все же некоторые выходки молодого поколения выводили его из себя.

Помню, как однажды мы поехали с ним к моей бабушке, матери моей мамы, которая жила в Бодзехове, в особняке, к слову, нагоняющем страх, потому что ночами его заполняло жуткое и дикое пение, переходящее в рев, в хрипы, в скуление, в бесконечные диалоги, сумрачный шепот, горькие рыдания. Нет, нет, не духи... Ее сын, потерявший рассудок, когда ему было 20 лет, жил вместе с ней: дом был поделен на две половины, одна из которых была отдана сумасшедшему, а поскольку по ночам в этих покоях, где только он пребывал в своем одиночестве, его охватывал страх, он подбадривал себя концертом, от которого у любого, кто не в курсе дела, волосы дыбом встанут.

Вернемся, однако, к теме. Приехав с отцом в Бодзехов, я обнаружил, что новая бабушкина прислуга, Марыся, весьма недурна собой. Я пригласил ее в воскресенье на представление местной театральной труппы. Но случилось так, что аккурат в то самое воскресенье должны были приехать какие-то гости, и бабушка попросила Марысю передвинуть свой «выходной» на другой день. «Не смогу, – ответила Ма-

рыся, – панич пригласил меня в театр». «А, дитя мое, если вы идете с паничем в театр, то, конечно, это совсем другое дело!» – сказала бабушка, искоса посматривая на отца, который не смог переварить столь далеко зашедшую демократию и, после того как Марыся ушла, сделал строгое замечание: «Как можно так вести себя – деморализовать слуг!» Я оправдывался, что у Марыси был выходной, то есть не была служанкой в течение этих нескольких часов, а даже если служанка... «Я совершенно не понимаю, почему бы мне не пойти в театр со служанкой, кому это мешает?» Но как раз этого мой отец не понимал... и ничего удивительного! Я был уже человеком городским, то есть по сути своей демократичным, привыкшим к анонимному, чуть ли не безличному обслуживанию, а он был еще с тех времен, когда у человека была личная прислуга, с которой не следовало фамильярничать, и барство для него еще было добродетелью.

Мое поколение оказалось в ситуации, с которой поляки сталкиваются не часто. Мы вступали в жизнь в свободной и независимой Польше, и эта идиллия длилась целых двадцать лет! На моих глазах независимость, поначалу довольно туманная и неопределенная, постепенно прибавляла в себе и наращивала мускулы. Но не могу сказать, что я этим как-то особо воодушевлялся, мое поколение быстро привыкло к свободе и обретение государственной независимости вскоре стало сугубо официальной темой разных торжественных дискурсов. Как определить патриотизм моего поколе-

ния? То, что это был уже не романтизм, прекрасно известно, но следует добавить, что он не содержал в себе ни сентиментальности, ни чести, той самой «честь», которая все больше пахла комизмом и становилась все менее модной. Как только речь заходила об отчизне, нас охватывало огромное смущение, видимо, сильно отличавшее нас от молодежи времен Жеромского, любившей пошелестеть знаменами и плюмажами. Мои приятели в этом отношении были очень на меня похожи: им все труднее давались патриотические излияния в прозе или в поэзии, их тонкие натуры защищались с помощью цинизма; они предпочитали отшучиваться, а не декламировать. Наверняка ранний военный опыт, особенно 1920 года, также лег в основу столь трезвой установки. А потому вступали мы в независимость не только с утилитарной и лишенной иллюзий установкой, но и без языка, на котором мы могли бы выразить нашу привязанность к Польше, потому что тот язык, который мы получили в наследство, безумно устарел, а новому, который подходил бы нам, нашему новому, естественному для нас образу и стилю, никто нас не научил. В этом смысле мы были абсолютно дикими... и немými... И тем не менее, все мы несомненно и до мозга костей были поляками, что и обнаружилось, когда эту нашу странную независимость сначала утопила Германия, а потом и коммунизм. Себя я тоже причисляю к народу, хотя головой не рисковал и эту новую оккупацию наблюдал лишь издалека, из Америки, а тот факт, что, несмотря на много-

летнее пребывание за границей, я как писатель не оторвался от народа, тоже что-то значит и свидетельствует о крепости моей связи с родиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.